

Международный редакционный совет

А.Д. Дуличенко
(Эстония, Тартуский ун-т)
Б.М. Есаджян
(Армения)
В.С. Кисель
(Германия, Бременский ун-т)
В.А. Маслова
(Беларусь, Витебский ун-т)
И.Г. Овчинникова
(Израиль, Ун-т Хайфы)
Э.Д. Сулейменова
(Казахстан, КазНУ)
В. Фридман
(США, Чикагский ун-т)
М. Хольмгрен-Трой
(Швеция, Карлстадский ун-т)

Редакционная коллегия

С.Г. Антонова, д. ф. н., проф.
В.В. Барабаш, д. ф. н., проф.
У.М. Бахтикирева, д. ф. н., проф.
Л.П. Быков, д. ф. н., проф.
И.Л. Волгин, д. ф. н., проф.
Т.Т. Давыдова, д. ф. н., проф.
Е.А. Зачевский, д. ф. н., проф.
Л.В. Зимина, д. ф. н., проф.
Н.Б. Кудрявцева, д. ф. н., проф.
И.А. Панкеев, д. ф. н., проф.
Ю.Е. Прохоров, д. п. н., д. ф. н., проф.
Г.Я. Солганик, д. ф. н., проф.
Н.Е. Сулименко, д. ф. н., проф.
М.В. Тлостанова, д. ф. н., проф.
Н.В. Уфимцева, д. ф. н., проф.

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

- Т.Е. Владимирова.* Русский язык и русская языковая личность в полицентричном мире 3
- М. Джусупов.* Современный русский литературный язык: инвариант и вариации 16
- И.Г. Овчинникова, Л.Л. Черепанова.* О методике анализа некооперативной стратегии в дискурсе СМИ 30
- Г.В. Федюнева.* Дискурсивное слово **то, того** и его дериваты в северо-восточных русских говорах 43
- А.А. Буевич.* Библейские имена собственные во фразеологизмах русского и испанского языков 52

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Е.А. Зачевский.* «Богородноуенная» муза национал-социализма 60
- И.С. Урюпин.* Архетипический синтез Востока и Запада в историко-культурном пространстве. Пьеса М.А. Булгакова «Бег» 71
- В.Д. Серафимова.* Классика и постмодернизм: «Чапаев» Д. Фурманова и «Чапаев и Пустота» В. Пелевина. К 90-летию выхода в свет романа Д.А. Фурманова «Чапаев» 79

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ЗА РУБЕЖОМ

- R. Tempest.* "War is Existence Itself": Representations of the Authorial Self in Aleksandr Solzhenitsyn's Story "Zhelyabuga Village" (*Р. Темпест.* «Вы — как будто вжились в войну»: репрезентации авторского «я» в рассказе А. Солженицына «Желябугские выселки») 88
- S. Broeck.* One More Trip To the Quarters: Uncle Tom's Cabin Revisited With Toni Morrison (*С. Брёк.* Снова в рабских бараках: поход в хижину дяди Тома в компании с Тони Моррисон) 94

ТЕКСТОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ

- Н.Г. Иншакова.* Редактор в сфере маркетинговых коммуникаций 104

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ. РЕЦЕНЗИИ

- В.Н. Базылев.* В ожидании нарратива: суеверия и приметы в лингвокультурологии. Рецензия на многоязычный словарь 115



Научный редактор

У.М. Бахтикиреева

Над выпуском работали

Л.Г. Тюрина, шеф-редактор

Л.В. Хохлова, корректор

Т.И. Такташов, компьютерный
дизайн и верстка

Почтовый адрес редакции

117198, Москва,

ул. Миклухо-Маклая, д. 6

E-mail: philnauki@gmail.com

www.filolnauki.ru

Тел.: (495) 723-86-12

Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-53540 от 10 апреля
2013 г.

Учредитель и издатель

Инновационный научно-образо-
вательный и издательский центр
«АЛМАВЕСТ»

Выпуск осуществлен

при поддержке

Российского университета
дружбы народов

Подписано в печать 16.09.2013

Отпечатано в ООО «Тираж»

129085, г. Москва,

Звездный б-р, д. 21, стр. 3

Тел. +7(905) 764-75-57

E-mail: info@tirazh.su

Тираж 500 экз.

© Филологические науки

(Научные доклады высшей школы),
2013.

CONTENT

LINGUISTICS & INTERCULTURAL COMMUNICATIONS

- T.E. Vladimirova.* Russian language and Russian
linguistic personality in a polycentric world 3
- M. Dzhusupov.* Modern Russian language: invariant and variations 16
- I.G. Ovchinnikova, L.L. Cherepanova.* The method of analysis
of cooperative principle deviations in current media discourse 30
- G.V. Fedyuneva.* Discursive word “*mo, mozo*” and its derivatives
in the North-Eastern Russian dialects. 43
- A.A. Buyevich.* Biblical proper names in Russian and Spanish
phraseological units 52

HISTORY & CRITICISM OF LITERATURE

- E.A. Zachevskiy.* “A divinely-inspired” muse of national socialism 60
- I.S. Uryupin.* Archetypal synthesis of the East and the West
in the historical and cultural space of M.A. Bulgakov’s play “Flight” 71
- V.D. Seraphimova.* Classics & Postmodernism: Novel “Chapayev”
by D. Furmanov’s Novel “Chapayev and Void”
 (“The Clay Machine-Gun”) by V. Pelevin. Devoted to the 90th
anniversary of publishing D. Furmanov’s novel “Chapayev” 79

PHILOLOGY ABROAD

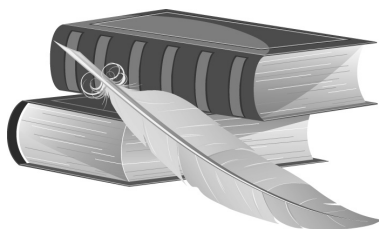
- R. Tempest.* “War is Existence Itself”: Representations
of the Authorial Self in Aleksandr Solzhenitsyn’s Story
“Zhelyabuga Village” 88
- S. Broeck.* One More Trip To the Quarters: Uncle Tom’s Cabin
Revisited With Toni Morrison 94

TEXTUAL STUDIES AND COPY-EDITING

- N.G. Inshakova.* Editor in marketing communications 104

BIBLIOGRAPHY & LITERATURE REVIEW

- V.N. Bazylev.* Anticipation of the narrative: superstitions
and omens in linguistic and crossculture studies 115



Т.Е. Владимирова

Русский язык и русская языковая личность в полицентричном мире

В статье рассматриваются особенности русского речевого общения через призму межкультурной коммуникации, раскрывающей самобытные особенности разных национальных языков и сформировавшихся в их пределах культур.

Ключевые слова: общение, речевая культура, речевой этикет, речевое поведение.

The article considers the peculiarities of Russian speech communication through the prism of intercultural communication, revealing distinctive features of different national languages and cultures, which were formed within the languages.

Keywords: communication, speech culture, speech etiquette, speech behavior.

Развернувшийся процесс интеграции в экономической, финансовой, транспортной, торговой, информационной и других сферах жизни способствовал созданию единого, преимущественно англоязычного, коммуникационного пространства. Это позволяет говорить о качественно новом состоянии межкультурной коммуникации, осуществляемой посредством одного языка. В создавшейся ситуации духовные ценностные представления, закреплённые в языке и речевой культуре, испытывают на себе сильное давление развернувшегося интеграционного процесса. Глобализация, предпринятая самим ходом истории и призванная гармонизировать развитие межкультурного сотрудничества, всё более проявляется как тенденция, нивелирующая языковые и этнокультурные особенности его участников. Рассматривая экспансионистские тенденции Запада, Арнольд Джозеф Тойнби, широко известный автор учения о цивилизациях, писал:

«Очевидно, что это часть более крупного и честолюбивого замысла, где западная цивилизация имеет своей целью не больше и не меньше как включение всего человечества в единое общество и контроль над всем, что есть на земле, в воздухе и на воде, и к чему можно приложить для пользы дела современную технологию» [28. С. 116].

Вместе с тем унаследованные ценностные представления и ориентиры поведения глубоко укоренены в народном самосознании и обладают достаточно сильным иммунитетом, препятствующим их растворению в чуждых установках и идеалах. Анализ межэтнического взаимодействия убедительно свидетельствует о том, что настойчивые попытки приобщения носителей иного языка и культуры к своим представлениям о «должном» безуспешны, даже если предлагаемый образ жизни имеет привлекательные стороны. Известный представитель культурной антропологии О. Маннони, изучавший психологический аспект процесса колонизации, в этой связи заметил: «Было бы очевидным упрощением думать о двух культурах,

как о двух сосудах, наполненных в неравной мере, и полагать, что если они будут сообщаться, то их содержимое придет к одному уровню. Мы были удивлены, открыв, что какие-то элементы нашей цивилизации туземное население воспринимало более или менее, другие решительно отвергало. Обобщая, можно сказать, что население колоний приняло определенные детали нашей цивилизации, но отвергло ее как целое» (цит. по: [22]).

Данная тенденция вполне объяснима. Собственно цивилизационные потребности в комфорте и улучшении условий жизни не могут вытеснить стремления к национальной самоидентификации и любви к родному языку и культуре, к традиционной этике речевого поведения. Ведь на этом фундаменте сформировалась та система жизненных установок, идеалов и ценностных представлений, которая в течение многих веков обеспечивала выживаемость этноса и позволила ему занять свое уникальное место в мировом сообществе. Как следствие, угроза всеобщей ориентации на однополярный мир закономерно порождает потребность в национальной самоидентификации и сохранении культурной самобытности, которая становится одним из ведущих императивов нашего времени. И всё активнее звучат голоса тех, кто исключает саму перспективу возникновения унифицированной культурной модели развития, усматривая в ней потенциальную утрату национальной самобытности. По мнению выдающегося антрополога, культуролога и философа Клода Леви-Строса, ни одна из существующих цивилизаций не является образцом для других народов и культур и «мировая цивилизация не может быть в мировом масштабе не чем иным, кроме как коалицией культур, каждая из которых сохраняет свою самобытность» [19. С. 353].

Сформулированный культурной антропологией принцип «продуктивности разнообразия» с необходимостью должен быть дополнен разработкой концепции межкультурного взаимодействия. И сегодня поиском этических оснований межкультурного диалога (полилога) занимаются специалисты едва ли не всех областей гуманитарного знания. И все же то, что доступно науке о языке, издавна выполнявшей функцию «службы понимания» (С.С. Аверинцев), представляется особенно важным: рассмотрение межкультурных контактов через призму филологической рефлексии позволяет понять внутренние механизмы языка и сформировавшейся в его пределах речевой культуры, а следовательно, программировать развитие межкультурных контактов.

В этой связи позволим себе напомнить положение М.М. Бахтина о неизбежной филологизации гуманитарных наук: «Гуманитарные науки — науки о человеке и его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении. Человек в его человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), т. е. создает текст (хотя бы и потенциальный). Там, где человек изучается вне текста и независимо от него, то это уже не гуманитарные науки» [5. С. 311]. Рассматривая речевое взаимодействие не только как текст / высказывание, но и как языковое воплощение поступка, традиционно входившего в сферу философии, этики и психологии, М.М. Бахтин в своих металингвистических исследованиях сосредоточил внимание на анализе диалогических отношений, в которых проявляются «мировоззрения», «точки зрения», «социальные голоса» и «отношение к ценности (к истине, к добру, красоте и др.)» [4. С. 330]. В результате им был фактически раскрыт механизм «диалога личностей», в котором стремление общающихся «открыть себя», «стать самим собой» и «существовать как процесс» создает определенный пространственно-временной контекст взаимодействия, который отличается «полнотой времени» и «полнотой бытия» [6. С. 68—69]. Подобная направленность диалогических отношений соотносима с экзистенциальным общением, раскрывающим в человеке его истинную сущность, поскольку в этом взаимодействии находит выражение «целостность духа» (К. Ясперс).

Настоящая статья посвящена рассмотрению русского речевого общения через призму межкультурной коммуникации, раскрывающей самобытные особенности национальных языков и сформировавшихся в их пределах культур.

Для русского «диалога личностей» типична фатическая, или контактоустанавливающая модальность, которая создает особый доверительный контекст и приближает к говорящему. Поэтому фатическая модальность объединяет праздноречивые разговоры, сопровождающие какое-либо другое действие, и духовное общение. Начальную направленность на взаимность дополняет установка на эмоциональную открытость, искренность, правдивость и содержательно-смысловую значимость высказываний, которая отражает традиционные ценностные представления носителей русского языка о должном взаимодействии. Последнее предполагает, во-первых, включенность в общение целостной природы человека, которая с античных времен понимается как триединство <ум — чувство — воля> или <тело — душа — дух>. А во-вторых — ориентацию на искомую форму общения, для которой характерны «чувство, имеющее своим предметом *объективную красоту*, мышление, имеющее своим предметом *объективную истину* (следовательно, мышление познающее, или знание), и воля, имеющая своим предметом *объективное благо*» [26. С. 146]. В этом отношении большой интерес представляет триада <адресант — наадресат — адресат>, в которой находит отражение целостность межличностного дискурса. Раскрывая понятие высшего «наадресата», в роли которого могут выступать Бог, Абсолютная истина, совесть, народ, суд истории, наука и т.д., М.М. Бахтин рассматривал его как существенный признак целого высказывания и — шире — речевого общения [4. С. 337—338]. Таким, в самых общих чертах, представляется оценочный план русского «диалога личностей», предпосланный родным языком и отечественной культурной традицией.

В отличие от русской фатики, открывающей межличностное общение, западноевропейская речевая культура избрала в качестве подобного инварианта установку на этикетное общение. Для стран так называемого конфуцианского региона характерна традиционная этика «лица», состоящая в моральном усилии гармонизировать общение, согласно принятому канону. А центрально- и среднеазиатские государства отличает высокая культура красноречия и правил «вежливого» общения с собеседником.

Знание национально-специфических форм речевого общения, свойственных культуре собеседника, — неперемное условие успешной межкультурной коммуникации. Это объясняется тем, что этико-культурные ценности составляют «ненаследственную память коллектива» и поэтому они не стареют и не меняются, а растут и генерируют новые [21. С. 202]. Игнорирование данного фактора или ошибочная интерпретация самобытных речеповеденческих особенностей, как правило, затрудняют межличностное общение. В ситуации продолжительных контактов и внимания к национально культурной специфике адресата происходит сближение ценностных представлений и формируется «общий фонд» мыслей, чувств и переживаний коммуникантов, что является своего рода залогом успешного развития межкультурного взаимодействия.

Если же национальные стереотипы поведения продолжают быть единственными, это может рассматриваться как знак не межличностного общения, поскольку не сформирована та общность оценочных суждений, которая определенным образом корректирует речевое взаимодействие. Так, например, обязательный для японцев контроль за мимикой лица неприемлем для русских и может осложнять межличностное общение. В свою очередь типичная для русских потребность поговорить обо всем, что было и что лишь в процессе разговора пришло на ум, так же может вызвать отторжение у японского собеседника. Подобная реакция вполне предсказуема: приверженность к «культуре умолчания» плохо сочетается с русской

готовностью «открыть себя» и быть «самим собой». Разумеется, это не означает отсутствия у японцев стремления к взаимности, но их культурный социокод предписывает иную форму речевого поведения, ориентированную на ранжирование взаимоотношений в зависимости от статусных ролей: *Этикет надо соблюдать даже в дружбе*.

Подобное понимание дружеского общения резко контрастирует с русским, для которого типичны взаимный интерес к делам и переживаниям другого, искренность и бескорыстие чувств, в которых находит выражение личностный способ существования русской языковой личности. Примечательно, что «Словарь по этике» под редакцией А.А. Гуссейнова и И.С. Кона отмечает близость русского концепта «дружба» понятиям родства, товарищества и любви, отражающим процесс дифференциации и взаимопроникновения инструментальных и эмоционально-экспрессивных функций взаимопонимания [25. С. 85]. Более того, есть основания полагать «отдаленно родственными» слова *Русь* и *друг, друзья, дружина* в самом русском языке» [27. С. 155], что позволяет говорить о глубокой укорененности в сознании личностного модуса существования в дружеских взаимоотношениях.

Анализируя отражение дружеских отношений в русской, польской и английской картинах мира, А. Вежбицкая пришла к выводу, что русская базовая сетка для обозначения межличностного взаимодействия располагает пятью лексическими единицами (друг, подруга, товарищ, приятель, знакомый), польская — тремя (*przyjaciół, kolega, znajomy*), а английская — одним (*friend*). По мнению исследователя, данная особенность языковой картины мира отражает повышенный интерес носителей русского языка «к сфере отношений между людьми» [9. С. 106]. Сформулированный вывод нашел свое подтверждение в социопсихолингвистическом исследовании, направленном на изучение русского обыденного сознания. Согласно полученным результатам, концепт «общение» включает представление не только об обмене информацией («разговор»), но и о характере общности («друзья») и взаимопроникновении («беседовать по душам», «глубоко понимать друг друга») [18].

Сознательное целеполагание и стремление к достижению искомой глубины взаимоотношений позволяют выделять в личностном речевом взаимодействии духовный слой и интерпретировать его как духовное общение. Данная характеристика может быть дополнена положительным отношением к общению для восстановления утраченного душевного равновесия. А.Д. Шмелев в работе «Русская языковая картина мира: Материалы к словарю» также отмечает присутствие в концепте «общение» противоположных установок. С одной стороны, русская языковая картина мира фиксирует высокую оценку задушевного интимно-дружеского общения, а с другой — недопустимость нарушения определенных границ в общении (например, в ситуации, когда некто пытается «залезть в душу») [30. С. 165].

Задушевность, искренность, доверительность и интенсивность межличностных отношений, о которых пишут едва ли не все специалисты по русской культуре, могут восприниматься иностранцами как нежелательные и обременительные в глазах представителей западной культуры или даже шокирующие, с точки зрения представителей восточно-азиатского региона. Так, в частности, английский журналист Х. Смит, характеризуя отношение русских к дружбе, пишет:

«Западные люди находят насыщенность отношений, практикуемых русскими в своем доверительном кругу, и радующей, и утомительной. Когда русские до конца раскрывают душу, они ищут себе брата по духу, а не просто собеседника. Им нужен кто-то, кому они могли бы излить душу, с кем можно было бы разделить горе, кому можно было поведать о своих семейных трудностях <...>. Как журналист, я нахожу это несколько щекотливым, поскольку русские требуют от друга полной преданности» (цит. по: [10. С. 341]).

Неудивительно, что и носители русского языка также сознают свою «инаковость». Так, например, писатель Б. Васильев пишет:

«Русские едва ли не самый эмоциональный народ в мире: сначала поступаю по порыву, а потом смотрим, что наделали. Это нам свойственно. Но духовность наша тоже от повышенного уровня эмоциональности. У нас нет немецкой рассудительности, американской деловитости, нет “умения англичан держать дистанцию”, мы такие» [8. С. 5].

В этом контексте определенный интерес представляет характеристика русского и французского межличностного общения, данная Н.А. Бердяевым, который справедливо считал себя наследником обеих культурных традиций.

В его оценке у французов *«очень затруднено общение в русском смысле слова. Соприкосновение душ почти невозможно. Всегда остается дистанция. <...> В общении есть большая условность, условная вежливость и любезность. Французы любят говорить комплименты и очень трудно различать их настоящие чувства. У них совсем нет русской душевности. Преобладают интеллектуальность и чувственность, слабы сердечность и душевность. <...> Французы скромнее, менее самоуверенные, чем русские. Это связано с их высокой культурой. Русские всегда считают себя призванными быть нравственными судьями над ближними. Русские очень легко чувствуют себя грешниками и из всех народов земли они более всех склонны к покаянию. Это характерная черта. Но обратной стороной этой добродетели является склонность к обсуждению нравственных свойств людей. В русском мышлении нравственный момент преобладает над моментом чисто интеллектуальным. Западным же людям свойствен объективирующий интеллектуализм, который очень охраняет от вторжений в чужую жизнь. Главное же качество русского общения, что в нем легче начинать говорить о главном и существенном»* [7. С. 265—266].

О принципиальном различии русского и западноевропейского речевого поведения пишет и В.В. Колесов:

«**Этикет** — слово французское, в русской речи ему соответствует сочетание **правила поведения**. Этикет как “совокупность внешних правил поведения в отношении к другим людям” не очень понятен русской ментальности; он воспринимается как принудительная мера в регламенте ритуала. Наоборот, **правила** — правильны, а **поведение** соотносится с глаголом ведать, т. е. знать нечто сокровенное, владея особой информацией, и умело ею пользоваться в зависимости от обстоятельств. Не принужденно внешним образом, а в силу внутренней потребности самовыражения в социальной среде. За этикетом может скрываться недоброжелательство, осуждение или враждебность, а правила поведения требуют органически естественного общения — открыто, искренне и заинтересованно» [17. С. 176].

Поэтому в русском восприятии следующие этикету западноевропейцы «притворяются».

Что же касается русского, раскрывающегося навстречу собеседнику-инофону, то он может показаться не только невоспитанным, но и грубым.

Характерная для **западноевропейской культуры** тенденция к стандартизации речевого взаимодействия проявляется в ограниченном наборе этикетных форм, которые используются в различных речевых ситуациях. В качестве примера сошлемся на наиболее распространенные вежливые формы обращения: к мужчине, замужней и незамужней жен-

щине относятся английские *сэр, мистер/миссис, мисс*; французские *месье/мадам, мадемуазель*; немецкие *герр/фрау, фройлен*; итальянские *синьор/синьора, синьорина*. (Примечательно, что в деловом этикете употребляется только форма обращения к замужней женщине, независимо от семейного положения.) А обращение по имени расценивается нередко как фамильярное и является допустимым только среди близких людей, студентов, школьников, а также в дружеской обстановке. Отличительная особенность немецкого речевого этикета — подчеркнутая официальность: обращаясь к адресату, называют не только его фамилию, но и титул. Если же говорящему звание неизвестно, используется широкоупотребительное *герр доктор*. Что же касается обращения к замужней женщине, то оно с необходимостью включает титул ее мужа (*герр доктор Шмуцер, фрау доктор Шмуцер*). Характерной чертой польского этикета является обращение *пан / пани* в сочетании с именем, фамилией, профессией или должностью (*пан Станислав, пани Кольовска, пан адвокат, пани директор*).

Примечательно, что во всех европейских языках вежливое отношение к адресату утвердилось в форме на «вы». Исключение составляет лишь английский язык, в котором есть единая форма *you*. На этом фоне выделяется итальянский этикет, отдающий предпочтение формам на «ты» при установлении и поддержании доверительных взаимоотношений между коллегами, служащими фирм, банков, министерств, а также между рабочими и в молодежной среде. (Примечательно, что обращение на «ты» не принято в общении с подчиненными и с обслуживающим персоналом.)

Для русского речевого поведения типично обращение к знакомым людям по имени (по имени-отчеству), что предполагает большую контактность и открытость, чем это принято в западноевропейской речевой культуре. Что же касается официальных форм обращения, то в XX веке они претерпевали изменения в зависимости от социального статуса граждан: *сударь/сударыня — господин/госпожа — гражданин/гражданка — товарищ — господин/госпожа*. Сегодняшние трудности в выборе нейтральной формы обращения являются, по мнению В.В. Колесова, «свидетельством поразительной свободы» говорящего, которая вместе с тем мешает автоматизму речи, привычному для носителей западноевропейских языков [17. С. 180]. В русской речевой среде типична тенденция перехода в процессе развития взаимоотношений с формы на «вы» к форме обращения на «ты». Причем обращение к старшим по возрасту или по социальному положению предполагает традиционное использование формы на «вы».

Речевое поведение в странах конфуцианского региона традиционно строится на основе идеи иерархической организации семьи, коллектива и общества в целом. Являясь частью семейного клана, человек осознает себя включенным в единую социальную цепь и приобретает соответствующий статус (социальное «лицо»), предписывающий руководствоваться определенными этическими правилами. В итоге этика «лица» как доминанта речевого поведения практически нивелирует индивидуальное своеобразие, сводя общение к демонстрации масок, соответствующих этикету.

Готовность наследников конфуцианских этических ценностей придерживаться установленных образцов речевого взаимодействия сформировала в этом регионе национально-самобытные культуры коллективистского типа. Так, например, китайцы по-прежнему исходят из представления о диалоге как единстве спонтанности и непредсказуемости ситуации и морального усилия следовать традиции. При этом ведущей является установка на гармонизацию общения, исключающая проявление эгоизма и нетерпимости в отношении к собеседнику. Несколько позже конфуцианская этика была дополнена такими ценностными ориентирами, как демонстрация «всеобщей любви» (*цзян ай*) и достижение «взаимной выгоды» (*сян ли*), сформулированными младшим современником Конфуция Мо Ди. Характеризуя современ-

ный китайский дискурс, исследователи отмечают приоритетность силы, трезвого расчета и практически полезного результата и неакцентированность таких свойственных русскому общению ценностных представлений, как совесть, справедливость и поиск истины [15. С. 238].

Японская речевая культура также развивалась на основе этических постулатов, отличных от русской традиции общения. Например, нельзя не заметить, что косвенное, ненавязчивое выражение японцами мыслей и чувств, особая деликатность, исключающая внесение в разговор какого-либо диссонанса, и строгий контроль за мимикой лица плохо согласуются с русской открытостью и непосредственностью. Не принимаются японцами и эмоциональное восхищение или одобрение в свой адрес, характерные для русского дружеского дискурса. Но в затруднительном положении может оказаться и носитель русского языка. Так, высказанные в адрес японского студента справедливые замечания могут вызвать у него улыбку. Вместе с тем в японской речевой культуре улыбка выражает уверенность в способности исправить создавшуюся ситуацию и, следовательно, она является правоммерной и не должна вызывать недоумение у преподавателя.

Примечательно, что почтительное отношение к общественному статусу выражается не только лексически, но и грамматически. Так, например, различается передача отношения говорящего к адресату (адресив) и к лицам, о которых идет речь (гоноратив). Этой же цели служат глаголы, которые употребляются только в 1-м или во 2-м лице. В результате японский этикет насчитывает около 50 форм обращений и более 50 вариантов приветствий. Обращаясь друг к другу, японцы обычно прибавляют суффиксы вежливости — *сан* / *-сама* (обращение к вышестоящему), — *кун* (обращение к подчиненному), *сэнсэй* (обращение к преподавателю, ученому, работнику искусств), а также *okusан* (обращение к замужней женщине), *одзё-сан* (обращение к девушке) и др. К числу распространенных форм выражения вежливого отношения к адресату относится также избегание прямого обращения, когда говорящий использует безличную форму (*Куда имеется хождение?*). Что же касается общения в современной молодежной среде, то для нее характерно обращение по имени [2].

Вьетнамский речевой этикет также ориентирован на внимательное отношение к статусу и возрасту собеседника и на выражение уважительно-почтительного отношения к нему. В частности, незнание социального статуса собеседника может стать причиной отказа от личностной формы общения. В целом вьетнамская этика предписывает придерживаться традиционной установки на гармоничное общение, исключающей игнорирование этикета, закрепленного за той или иной речевой ситуацией, а также проявление эгоизма и нетерпимости в отношении к собеседнику. Особое внимание вьетнамцы уделяет обращению и приветствию, о чем свидетельствует дошедшая до нашего времени пословица: *Приветствие ценнее подноса с едой*. В этой связи становится предсказуемым тот социокультурный шок, который испытывают вьетнамцы, сознавая, что к одному и тому же человеку носители русского языка обращаются по-разному: Владимир Сергеевич, Владимир, Володя, Володенька, Володька, Вова, Вовочка, Вовка, Сергеич, дядя Володя и др. Подобная реакция вполне ожидаема, так как, согласно вьетнамской этике речи, *Сколько имен, столько и людей*.

Своеобразие речевого этикета **центрально- и среднеазиатских государств** также проявляется в выражении уважительно-почтительного отношения к статусу и возрасту собеседника и в высокой оценке красноречия, выражающегося в использовании говорящим иносказаний, метафор, сравнений, афоризмов, пословиц и др. Традиционный этикет предполагает также владение устойчивыми формулами и правилами «вежливого» контакта с собеседником. Неприемлемыми для наследников исламских и общинно-родовых ценностей

являются нивелирование статусных ролей, отсутствие жесткой регламентации в общении и широкий диапазон избираемой тональности речевого поведения от сдержанно-холодной до эмоционально-открытой и сердечной.

В этом контексте значительный интерес приобретают вокативы. Так, например, узбеки широко используют в функции обращения как к знакомому, так и к незнакомому коммуниканту термины родства (*ака / акажон, ука / укажон, опа / опажон, ота / отажон* и др., сравнимые с русскими обращениями *дядя / дяденька, тетя / тетенька, бабушка / бабуля, дедушка / дедуля* и т.д.), имена собственные с дополнительными морфемами, выполняющими гонорифическую функцию (*Махмудамаки, Сатторака, Соадатана* и др.). Широко употребляются эмоционально-оценочные формы, образованные путем прибавления специальных морфем. Например, формы обращения к дочери *онахон* и к сыну *отагинам* получены путем прибавления к словам *она* (дочь), *ота* (сын) уменьшительно-ласкательных — *хон* и *гинам*. Что же касается стандартизированных форм, аналогичных принятым в Западной Европе, то в узбекском языке они отсутствуют. В целом узбекская система обращений и приветствий настолько контрастирует с обыденным речевым поведением современных носителей русского языка, что оно нередко оставляет у них впечатление высокопарно-надменного, холодного и даже грубого [24]. В свою очередь узбекское речевое поведение обычно воспринимается в русской языковой среде как чрезмерно слащавое и неискреннее. Это объясняется тем, что носители русского языка нередко пренебрегают этикетными правилами и допускает значительно больший диапазон в выражении отношения к собеседнику и к предмету разговора.

Казахский традиционный этикет (*адет*), вопреки растущей европеизации, также обнаруживает свою устойчивость. Так, например, на юге и западе страны невестки по-прежнему, согласно принятым правилам, приветствуют родителей и старших родственников мужа поклоном (*салем ету*) и называют свекра *ата*, деверя *кайынін*, золовок *кайынісініл*. Распространены и «внутрисемейные» названия близких родственников (*ат тергеу*), которые могут отражать их положение в обществе или какие-то внешние особенности. Обращает на себя внимание и непривычное для русских выделение гостей, которым оказывается повышенное внимание: *кудайы конак* (божий гость), *арнайы конак* (особый гость) и *кыдырма конак* (специально приглашенный гость). Носителю русского языка, не посвященному в традиции казахского гостеприимства, возможно, покажется чрезмерной и сервировка стола, и тщательное распределение блюд (*табак тарту*) во время праздничного *тоя* (торжества). При этом во время застолья следует проявлять уважение к старшим, отвечая на их вопросы чинно и спокойно, и не допускать ситуаций, когда младший перебивает старшего или недостаточно внимательно слушает его. Определенные правила гостеприимства распространяются и на случайно зашедшего в дом человека, который может вызвать обиду хозяина, если откажется от предложенного ему угощения.

В целом стилистика общения, свойственная носителям исламских и родоплеменных ценностей, может восприниматься русским собеседником с некоторым недоверием. Это объясняется тем, что русская речевая культура избегает подчеркнутого следования этикетным правилам и допускает значительно больший диапазон в выражении отношения к адресату и к предмету разговора. В свою очередь, манера общения русских, возможно, оставит у казахов и узбеков впечатление высокопарно-надменной и холодной, а сами собеседники удивят недостаточной воспитанностью.

Предпринятое краткое рассмотрение национально-самобытных стереотипных речевых формул, используемых при обращении к адресату, подтверждает точку зрения Е.М. Вольф, объясняющей их своеобразие «не столько системой данного языка, сколько

психолингвистическими свойствами его носителей. Эти явления, как правило, универсальны» [12. С. 144]. Необходимость психолингвистического рассмотрения языковых / речевых явлений неоднократно подчеркивалась А.А. Леонтьевым, который писал, что тождество лингвистическое еще не есть тождество психолингвистическое [20]. В этой связи позволим себе напомнить положение Л.С. Выготского, согласно которому «*везде — в фонетике, в морфологии, в лексике и семантике, даже в ритмике, метрике и музыке — за грамматическими и формальными категориями скрываются психологические*» [13. С. 334]. Более того, сопоставление национальных этикетных формул обращения делает очевидным их лингвосоциокультурное своеобразие, за которым отчетливо просматриваются этноспецифические аксиологические представления и ментальные стереотипы, уходящие в далекое прошлое.

Чтобы проиллюстрировать укорененность в сознании такого языкового, речевого и коммуникативного стереотипа, каким является обращение, рассмотрим следующий факт. Русская обыденная речь допускает в общении с лицами, не связанными родственными узами, такие обращения, как *отец, мать, брат, сестра, сын, дочь*, а также *батя, батюшка, матушка, братишка, сынок* и др. В словарях подобное словоупотребление сопровождается соответствующими пометами: просторечное, разговорное, вежливое, дружеское и др. В качестве примера сошлемся на реплики персонажей из рассказов В.М. Шукшина:

Не пропадем, **отец**; Дошло, **батя**. Шутить мне сейчас что-то не хочется («Охота жить»); ... Гляжу стоит бабка... ну, лет так восемьдесят-восемьдесят пять. Подняла руку, я остановился. «До Красного, **сынок**» («Чудик»); Что, **брат**, доигрался? («Думы»); Так, **братики!**.. — Он коротко и невесело хохотнул («Капроновая елочка»); Здравствуй, **бабушка!** — поприветствовал ее инженер («Упорный»); Выпьешь, **батя?** — предложил парень. <...> — Годы... Мое дело к вечеру, **сынок** («Случай в ресторане»).

В результате в повседневное общение едва знакомых или вовсе незнакомых людей приносятся черты семейной близости с естественной для нее ориентацией на неформальное, доверительное и теплое взаимодействие.

В поисках объяснения подобных форм обращения, нехарактерных для других индоевропейских языков, отметим отсутствие на Руси в дохристианский период длительного влияния Римской империи с ее правовой культурой, регламентирующей речевое поведение. Становление же славянского речевого поведения, напротив, в значительной степени было ориентировано не столько на закон, регулирующий взаимоотношения личности и общества, сколько на укорененные в нем ценности родоплеменной, а затем семейной жизни. Примечательно, что термин родства *брат* традиционно распространялся также и на соседей, приятелей, земляков, товарищей, друзей, а понятие *братский двор* обозначало место общего схода, где обсуждались все дела общины [16. С. 59]. Здесь представляется уместным вспомнить обращения Дмитрия Донского перед Куликовской битвой (*Братья! Умрем за отечество!*), автора «Слова о полку Игореве» (*Не пристало ли нам, братья, начать старыми словами печальные повести о походе Игоревом, Игоря Святославича? Начнем же, братья, повесть эту от старого Владимира до нынешнего Игоря* и др.), а также традиционное обращение к пастве (*Братья и сестры!*). Таким образом, использование в наши дни терминов родства в функции обращения по отношению к лицам, не связанным кровными узами, опирается на ментальные стереотипы и многовековые ценностные ориентиры речевого поведения.

Еще одной особенностью русской коммуникативной стратегии является внутренняя установка на личностное существование в различных социальных ролях. В результате, вступая в общение, носитель языка стремится не утратить внутреннюю идентификацию

с самим собой и не ограничивается ролью пользователя языком в программируемых ситуациях общения. Межличностный контакт рассматривается им как возможность проявить себя в качестве творческой, сопричастной высшим ценностям личности, которая способна к преобразованию собственного опыта речевого поведения, включая усвоенные культурные сценарии «строительства отношений». *«Выступая представителем некоторой социальной группы, человек общается с другим представителем другой социальной группы и одновременно реализует два рода отношений: и безличные, и личностные»*, — пишет Г.М. Андреева [3. С. 77]. В результате на уровне обыденного сознания межличностные отношения нередко выступают как единственное выражение реальных общественных отношений.

Направленность русского речевого поведения на достижение взаимности наложила свой отпечаток на характер производственной деятельности, успешность которой зависит от характера межличностных отношений. Как показало многолетнее масштабное исследование современного состояния российского менталитета, даже в совместной производственной деятельности россияне опираются на межличностные отношения как на залог ее успешности и на «конвенциональную» мораль. Сравнивая западноевропейский и российский опыт совместной профессиональной деятельности, исследователи отмечают, что для ее успеха в России люди должны вступить в личные, доверительные отношения. «В России оказался не выработан опыт социального взаимодействия, основанный на отвлеченной, в определенном смысле безличной обязанности каждого, отсюда, — пишет К.А. Абульханова, — зависимость успешности от “хорошего” человека и добрых отношений» [1. С. 23]. Осложнение в межкультурной коммуникации могут также вызвать непривычные для представителей западноевропейской культуры идеалы коллективизма, сформировавшие «слишком историчное, слишком общественное» самосознание россиян [1. С. 9].

Что же касается западноевропейского речевого поведения, то оно развивалось на фундаменте таких ценностных ориентиров поведения, как чувство собственного достоинства, личная ответственность, способность к самоактуализации и самореализации, автономность общения и подчеркнутая этикетность, которые в итоге сформировали культуру индивидуалистического типа. При этом для него четкое разграничение межличностного и делового общения строго подчинено принципу кооперации: коммуникативный вклад каждого участника диалога определяется совместно принятой целью. Кроме того, речевое поведение должно соответствовать постулатам качества информации (не говори того, что является ложным, или того, для чего у тебя нет достаточных оснований), количества информации (твое высказывание должно содержать не меньше, но и не больше информации, чем требуется), релевантности информации (не отклоняйся от темы) и способа ее изложения (избегай непонятных выражений и неоднозначности, будь краток и организован) [14]. Отмеченные различия в деловой коммуникативной стратегии чреваты возникновением конфликтных ситуаций в межкультурном взаимодействии и поэтому должны быть предметом пристального внимания его участников.

Предпринятое рассмотрение приводит к выводу о разработке программы подготовки специалистов к межкультурным контактам на иностранном языке, которая будет направлена, во-первых, на знакомство с языковой, речеповеденческой, дискурсивной и концептуальной картинами мира, которые сформировались под воздействием иных ценностных установок и ориентиров поведения, а во-вторых — на развитие межкультурной компетенции в деловой сфере. При этом следует принимать во внимание тот факт, что взаимопонимание и взаимодействие строятся преимущественно на логике смысла (рациональное начало). А воздействие на собеседника и достижение взаимности становятся возможными благодаря общности эмоциональных переживаний и сближению ценностно-смысловых (экзистен-

циально-аксиологических) кодов бытия, которые сформировались в русле национальной духовной традиции. Неудивительно, что общеевропейские компетенции владения иностранным языком специально выделяют экзистенциальную компетенцию (*savoir-etre*). Объединяя разнообразные факторы, характеризующие индивидуальность говорящего (т.е. взгляды, убеждения, ценностные представления и идеалы, личностные качества и др.), данная компетенция позволяет предупредить возникновение психологических и социокультурных барьеров. Ведь формы выражения к обсуждаемой проблеме и к самому собеседнику, принятые в одной культуре, могут восприниматься носителями другой культуры как проявление невоспитанности или даже оскорбление [23. С. 122].

Заключение

Подведем итоги. Металингвистическая призма рассмотрения русского языка в контексте межкультурной коммуникации с необходимостью предполагает направленность среднего и высшего образования на формирование билингвальной (а в перспективе — полилингвальной) языковой личности. Это откроет перспективу осмысления родного и иностранного языков и позволит выйти за пределы одномерного языкового пространства. Новые горизонты миропонимания и познания сообщат мышлению ту глубину, которая доступна только при владении неродным языком на уровне родного. Более того, способность человека взглянуть на мир или ситуацию через призму еще одного языка существенно повысит уровень коммуникабельности, а значит, и уровень культуры, в значительной мере определяемой способностью к взаимопониманию и сотрудничеству. С этой точки зрения, монолингв вряд ли может рассматриваться в качестве полноценной языковой личности. Ведь самобытные особенности родного языка осознаются лишь при вхождении в иное лингвокультурное пространство.

Литература

1. Абульханова К.А. Российский менталитет: кросс-культурный и ти-пологический подходы // Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики. — М.: Институт психологии РАН, 1997. — С. 7—37.
2. Алпатов В.М. Категория вежливости в современном японском языке. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.
3. Андреева Г.М. Социальная психология. — М.: Аспект Пресс, 2002.
4. Бахтин М.М. Заметки: Собр. соч. в 7 томах. — Т. 5. Работы 1940-х — начала 1960-х гг. — М.: Русские словари, 1997. — С. 329—360.
5. Бахтин М.М. Проблема текста: Собр. соч. в 7 томах. — Т. 5. Работы 1940-х — начала 1960-х гг. — М.: Русские словари, 1997. — С. 305—326.
6. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. — М.: Художественная литература, 1975. — С. 234—407.
7. Бердяев Н.А. Самопознание. — М.: ДЭМ, 1990.
8. Васильев Б. Не жди, не бойся, не проси // Известия. — 1994. — 21 мая. — С. 5.

References

1. Abulhanova K.A. Rossiyskiy mentalitet: kross-kulturnyy i tipologicheskiy podhody // Rossiyskiy mentalitet: voprosy psihologicheskoy teorii i praktiki. — M.: Institut psihologii RAN, 1997. — S. 7—37.
2. Alpatov V.M. Kategoriya vezhlivosti v sovremennom yaponskom yazyke. — M.: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2009.
3. Andreeva G.M. Socialnaya psihologiya. — M.: Aspekt Press, 2002.
4. Bahtin M.M. Zаметki: Sобр. soch. v 7 tomah. — T. 5. Raboty 1940-h — nachala 1960-h gg. — M.: Russkie slovari, 1997. — S. 329—360.
5. Bahtin M.M. Problema teksta: Sобр. soch. v 7 tomah. — T. 5. Raboty 1940-h — nachala 1960-h gg. — M.: Russkie slovari, 1997. — S. 305—326.
6. Bahtin M.M. Formy vremeni i hronotopa v romane. Oчерki po istoricheskoy poetike / Voprosy literatury i estetiki. — M.: Hudozhestvennaya literatura, 1975. — S. 234—407.
7. Berdyaev N.A. Samopoznanie. — M.: DEM, 1990.
8. Vasilev B. Ne zhdi, ne boysya, ne prosi // Izvestiya. — 1994. — 21 maya. — S. 5.

9. Вежибицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. — М.: Языки славянской культуры, 2001.
10. Вежибицкая А. Семантические универсалии и описание языков. — М.: Языки русской культуры, 1999.
11. Владимирова Т.Е. Призванные в общение: Русский дискурс в межкультурной коммуникации. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.
12. Вольф Е.М. Анализ текстов и психолингвистическая значимость лингвистических универсалий / Основы теории речевой деятельности. — М.: Наука, 1974. — С. 135—144.
13. Выготский Л.С. Мышление и речь: Собр. соч. в 6 томах. Т. 2. — М.: Педагогика, 1982. — С. 5—361.
14. Девятков А., Мартиросян М. Китайский прорыв и кроки для России. — М.: Вече, 2002.
15. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. — М.: Изд-во Москов. патриархата, 1993.
16. Грайс Г.П. Логика и речевое общение / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. — М.: Прогресс, 1985. — С. 217—237.
17. Колесов В.В. Язык и ментальность. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2004.
18. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. — СПб.: Питер, 2001.
19. Леви-Строс К. Раса и культура / Путь масок. — М.: Республика, 2000. — С. 323—356.
20. Леонтьев А.А. Психофизиологические механизмы речи / Общее языкознание: формы существования, функции, история языка. — М.: Наука, 1970. — С. 314—375.
21. Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении / Избранные статьи. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. — Таллинн: «Александра», 1992. — С. 200—202.
22. Лурье С.В. Историческая этнология. — М.: Академический проект: Гаудеамус, 2004. — [URL]: <http://svlourie.narod.ru/hist-ethnology/13.htm>
23. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. — Страсбург—Москва: Департамент по языковой политике, 2003.
24. Садуллаев Д.С. Национально-речевые признаки узбекского и русского менталитетов / Материалы Республиканской научно-практической конференции «Русский язык, литература и культура в Центральной Азии на современном этапе». — Ташкент: БухГУ, 2006. — С. 8—16.
25. Словарь по этике / Под ред. А.А. Гуссейнова, И.С. Кона. — М.: Политиздат, 1989.
26. Соловьев В.С. Философские начала цельного знания: Сочинения в 2-х томах. Т. 2. — М.: Мысль, 1990. — С. 139—289.
9. Vezhbickaya A. Ponimanie kultur cherez posredstvo kluchevykh slov. — M.: Yazyki slavyanskoy kultury, 2001.
10. Vezhbickaya A. Semanticheskie universalii i opisanie yazykov. — M.: Yazyki russkoy kultury, 1999.
11. Vladimirova T.E. Prizvannye v obschenie: Russkiy diskurs v mezhkulturnoy kommunikacii. — M.: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2010.
12. Volf E.M. Analiz tekstov i psiholingvisticheskaya znachimost lingvisticheskikh universalii / Osnovy teorii rechevoy deyatel'nosti. — M.: Nauka, 1974. — S. 135—144.
13. Vygotskiy L.S. Myshlenie i rech: Sobr. soch. v 6 tomah. T. 2. — M.: Pedagogika, 1982. — S. 5—361.
14. Devyatov A., Martirosyan M. Kitayskiy proryv i kroki dlya Rossii. — M.: Vechе, 2002.
15. Dyachenko G. Polnyy cerkovno-slavyanskiy slovar. — M.: Izd-vo Moskov. patriarhata, 1993.
16. Grays G.P. Logika i rechevoe obschenie / Novoe v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. XVI. Lingvisticheskaya pragmatika. — M.: Progress, 1985. — S. 217—237.
17. Kolesov V.V. Yazyk i mentalnost. — SPb.: Peterburgskoe Vostokovedenie, 2004.
18. Kunicyna V.N., Kazarinova N.V., Pogolsha V.M. Mezhlchnostnoe obschenie. — SPb.: Piter, 2001.
19. Levi-Stros K. Rasa i kultura / Put' masok. — M.: Respublika, 2000. — S. 323—356.
20. Leontev A.A. Psihofiziologicheskie mehanizmy rechi / Obschee yazykoznanie: formy suschestvovaniya, funkcii, istoriya yazyka. — M.: Nauka, 1970. — S. 314—375.
21. Lotman U.M. Pamyat v kulturologicheskom osveschenii: Izbr. stati. T. 1. Stati po semiotike i tipologii kultury. — Tallinn: «Aleksandra», 1992. — S. 200—202.
22. Lure S.V. Istoricheskaya etnologiya. — M.: Akademicheskiiy proekt: Gaudeamus, 2004. — [URL]: <http://svlourie.narod.ru/hist-ethnology/13.htm>
23. Obscheevropeyskie kompetencii vladeniya inostrannym yazykom: Izuchenie, obuchenie, ocenka. — Strasburg—Moskva: Departament po yazykovoy politike, 2003.
24. Sadullaev D.S. Nacionalno-rechevye priznaki uzbekskogo i russkogo mentalitetov / Materialy Respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferencii «Russkiy yazyk, literatura i kultura v Centralnoy Azii na sovremennom etape». — Tashkent: BuhGU, 2006 — S. 8—16.
25. Slovar po etike / Pod red. A.A. Gusseynova, I.S. Kona. — M.: Politizdat, 1989.
26. Solovov V.S. Filosofskie nachala cel'nogo znaniya. Sochineniya v 2-h tomah. T. 2. — M.: Mysl, 1990. — S. 139—289.

27. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. — М.: Академический Проект, 2004.

28. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. Мир и Запад. — М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011.

29. Харре Р. Дружба как достижение: этногенетический подход // Меж-личностное общение: Хрестоматия / Сост. и общ. ред. Н.И. Казариновой, В.М. Погольши. — СПб.: Питер, 2001. — С. 59—80.

30. Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю. — М.: Языки славянской культуры, 2002.

27. Stepanov U.S. Konstanty. Slovar russkoy kultury. Opyt issledovaniya. — M.: Akademicheskij Proekt, 2004.

28. Toynbi A.Dzh. Civilizaciya pered sudom istorii. Mir i Zapad. — M.: AST: Astrel; Vladimir: VKT, 2011.

29. Harre R. Druzhba kak dostizhenie: etnogeneticheskiy podhod // Mezhlichnostnoe obschenie: Hrestomatiya / Sost. i obschaya redakciya N.I. Kazarinovoy, V.M. Pogolshi. — SPb.: Piter, 2001. — S. 59—80.

30. Shmelev A.D. Russkaya yazykovaya model mira: Materialy k slovaru. — M.: Yazyki slavyanskoy kultury, 2002.



Татьяна Евгеньевна Владимирова,
доктор филологических наук, профессор
кафедры русского языка
Центр международного образования (ЦМО)
МГУ имени М.В. Ломоносова

Vladimirova Tatiana E.,
Doctor of Philology, Professor of Department of Russian Language
Centre for International Education (CIE)
Lomonosov Moscow State University

E-mail: yusvlad@rambler.ru



М. Джусупов

Современный русский литературный язык

Инвариант и вариации

Русский язык в инофонной среде функционирует как в инварианте, так и в вариациях (но не в вариантах), в которых наблюдаются результаты контактирования с другими языками. В полиэтнических тюркоязычных и других полилингвальных пространствах СНГ русский язык — язык номер 1, выполняющий функции межнационального общения, поэтому его конкретные региональные вариации всегда инвариантны.

Ключевые слова: русский язык, инвариант, вариация, инофонный мир, языковые контакты, региональные особенности, языковая норма.

The Russian language in the non-Russian speaking area functions both as an invariant and variations (not the variants). The invariant and invariant and variations of Russian display the results of its contacting with other languages. In the multiethnic Turkic-speaking and other multilingual areas of the CIS. Russian is number 1 language that fulfills the functions of interethnic communication. Due to that fact the concrete variations of the Russian language always appear as invariants.

Keywords: Russian language, invariant, variation, functions, interethnic communication, contacting.

I часть

Проблема функционирования современного русского литературного языка в России и за ее пределами исследуется, в основном, с двух позиций:

- 1) собственно лингвистической, т.е. внутренней (состояние и развитие его иерархических уровней);
- 2) социолингвистической, т.е. внешней (расширение или сужение его социальных функций в различных регионах мира).

В данной работе мы обращаемся ко второму (социолингвистическому) аспекту, в плане дифференциации понятий «инвариант русского языка», «вариация русского языка», «вариант русского языка», т.е. к проблеме особенностей регионального его функционирования в инофонных географических пространствах.

Современный русский литературный язык функционирует на огромном евразийском полиэтническом пространстве. Обобщенно особенности его функционирования можно представить следующим образом:

1. Функционирование современного русского литературного языка в естественной русскоязычной среде:

- ♦ внутри России;
- ♦ за пределами России.

2. Функционирование современного русского литературного языка в иноязычной среде:
 - ♦ внутри России;
 - ♦ за пределами России.

3. Функционирование современного русского литературного языка в иноязычных условиях порождает языковое контактирование.

Языковое контактирование с участием русского и других языков в условиях самой России и за ее пределами имеет свои особенности, которые связаны, прежде всего, с тем, что на территории РФ русский язык функционирует в качестве государственного языка, а за пределами России, например в тюркоязычных государствах СНГ, русский язык не обладает официальным статусом, т.е. не является государственным или официальным языком, но обладает образовательным статусом. На этих полилингвальных территориях он не функционирует в качестве государственного языка, но функционирует в качестве полиаспектного языка образования, просвещения, науки, дипломатии и др. [1].

Процесс контактирования русского и тюркских языков в республиках Центральной Азии способствовал двустороннему вхождению в эти языки лингвистических единиц (с доминированием русскоязычных), однако такая взаимосвязь и взаимообусловленность не создали креолизованные языки или языки-пиджины, которые гипотетически могли сформироваться слиянием языковых единиц и норм русского и тюркских языков. Объясняется это тем, что русский язык в тюркский мир Центральной Азии пришел, когда здесь уже была древняя орхоно-енисейская письменность и уже почти тысячу лет использовавшаяся арабская графика, большая всемирно известная тюркская письменная литература, философия, математика и история, астрономия и социология, медицина и поэзия. И тем не менее следует выделить факт исторического влияния русского языка, русской литературы и русской культуры в целом на развитие современных центральноазиатских языков, литератур, науки и образования (особенно в XX веке).

В использовании современного русского литературного языка в тюркоязычных республиках Центральной Азии наблюдаются региональные особенности, которые заметны, но не стали нормой русского литературного языка, функционирующего от Калининграда до Курильских островов, от Северного Ледовитого океана до южных границ Узбекистана, а на локальных географических микротерриториях и за пределами современного СНГ и бывшего СССР.

Наличие региональных языкоречевых фактов в функционировании современного русского литературного языка как в республиках Центральной Азии евразийского пространства, так и в других инофонных регионах порождает большую общелингвистическую и социолингвистическую проблему, которую можно сформулировать в виде вопроса: в каком виде функционирует современный русский литературный язык в инофонных регионах как внутри России, так и за ее пределами: в инварианте, в вариациях или в вариантах?

II часть

*П*осле распада СССР (особенно в последние 10—12 лет) данная проблема стала активно обсуждаться в научной литературе. В этой дискуссии принимают участие ученые многих государств мира и постсоветского пространства: *одни* ратуют за наличие литературных вариантов современного русского языка в целом [2; 3; 4 и др.]; *вторые* говорят о функционировании национальных вариантов русского литературного языка, выделяя, например, украинский вариант современного русского литературного языка [5]; *третьи* выдвигают идею региональных вариантов русского языка (например, предлагаемая украинскими специалистами концепция, согласно которой в более чем десяти регионах Украины функционируют

региональные варианты русского языка); *четвертые* утверждают, что существует исконная и неисконная русская речь [6]; *пятые* не отрицают наличия региональных особенностей в функционировании современного русского литературного языка в инофонной среде, активно их демонстрируют и анализируют, но при этом считают, что эти особенности в настоящее время еще не породили новых фонетико-фонологических, словообразовательных, морфологических, синтаксических, стилистических и орфографических норм, которые свидетельствовали бы о формировании нового литературного варианта современного русского литературного языка [7, 8 и др.].

Итак, вопрос о функционировании современного языка в инварианте, в вариации или в варианте поднимается как большая социолингвистическая и в целом лингвистическая проблема как в самой России, так и за рубежом.

Рассмотрим разные точки зрения специалистов по этой большой социолингвистической (прежде всего) проблеме, которые можно объединить и дифференцировать на нижеследующие направления, точки зрения, концепции:

- ♦ национальные варианты русского языка;
- ♦ региональные варианты русского языка;
- ♦ русский язык в инварианте и в вариации.

В последнее время одной из распространенных точек зрения является точка зрения о функционировании русского языка в национальных вариантах за пределами России. Согласно этой концепции русский язык, функционирующий на Украине — это национальный вариант русского языка на Украине, так как это русский язык, который используют граждане Украины и др. Так, А.Н. Рудяков пишет, что *«важным стимулом к развитию национальных вариантов русского языка является множественность “мы” носителей русского языка. Оказывается, что языковое (бытовое, обиходное) “мы” обусловлено не национальностью, не этносом, не языком общения, а страной и государством. “У нас” для россиянина означает в России, для казахстанца — в Казахстане, для украинца — Украине»* [5. С. 105].

Сторонники этой точки зрения приводят в пример английский язык. Так, они считают, что британский вариант английского языка — это его британский национальный вариант, так как используют его британцы; американский вариант английского языка — это его американский национальный вариант, так как используют английский язык американцы и т.д. Эту аналогию они перебрасывают на функционирование русского языка прежде всего в странах СНГ, а также в республиках Балтии, в Грузии и др. При этом логически не обосновываются фонетико-фонологическая, лексическая, словообразовательная, морфологическая, синтаксическая, стилистическая стороны проблемы, т.е. какие такие новые нормы, отличающиеся от норм современного русского литературного языка, функционирующего в самой России, появились у современного русского литературного языка в этих государствах и в целом в этих регионах? Кто создал эти нормы? Где они закреплены (академические грамматики, учебники, словари и др.)?

Сторонниками многовариантности современного русского языка являются и некоторые известные зарубежные лингвисты-русисты, например, группа ученых Университета Хельсинки А. Мустайоки, Е. Протасова.

Один из активных сторонников данного направления А.Н. Рудяков вводит термин «георусистика», которым предлагает именовать новое состояние русистики в XXI веке [5. С. 103].

Мы не возражаем, каждый ученый вправе вводить новое понятие и новый научный термин. Суть дела заключается в следующем: как соотносится понятие «георусистика» с понятиями «функциональная лингвистика» в целом и «функциональная русистика» в частности: а) заменяет эти понятия и термины; б) является их частью, одним из аспектов.

Итак, «георусистика» А.Н. Рудякова шире или уже «функциональной русистики»?

Сторонники данного направления в понимании социальных функций русского языка в современном мире говорят об инварианте и варианте русского языка, но не говорят о его вариации. (Проблема функционирования инварианта и вариации современного русского литературного языка в современном мире нами будет рассмотрена ниже.)

Мы полностью согласны с тем, что русский язык отражает региональные особенности, возникающие в инофонной среде, которые появляются в результате контактирования с другими языками. Но ведь русский язык это может отражать (и отражает) в инварианте и в вариации, а не обязательно в варианте.

Сторонники концепции региональных вариантов русского языка считают, что русский язык даже внутри одного инофонного государства может иметь региональные варианты. Так, например, на Украине обсуждалась (и обсуждается) концепция по закреплению за русским языком региональных социальных функций. В этом, с одной стороны, имеется положительный заряд, а с другой стороны — негативный (или почти негативный). В этом случае получится, что только на Украине будут иметь место чуть ли не больше десяти региональных вариантов русского языка.

На наш взгляд, следует говорить о региональном использовании русского языка или же об использовании русского языка с региональными особенностями, но не о региональных вариантах русского языка.

Если понятие региональный вариант русского языка брать за основу реализации его социальных функций в инофонной среде за пределами России, то только в СНГ таких региональных вариантов будет около ста (т.е. сто русских языков или сто литературных вариантов русского языка). Это совершенно нереально, не соответствует консолидирующей (объединяющей) функции русского языка в современном русофонном мире в условиях иноязычия, билингвизма и полилингвизма.

Концепцию регионального варианта русского языка не разделяют активные сторонники и породители идеи национального вариантного функционирования современного русского языка. Так, А.Н. Рудяков пишет, что «... ни один здравомыслящий лингвист не станет говорить о «региональных вариантах». Эти отличия обусловлены не разницей в регионе проживания, а различиями в социальной жизни государств, потребности которых в социальном взаимодействии обслуживает русский язык как совокупность национальных вариантов» [5. С. 104].

В сборнике научных трудов университета Хельсинки “*Slavica Helsingiensia 40. Instrumentarium of Linguistics: Sociolinguistic Approaches to Non-Standard Russian*” (University of Helsinki. Finland. — Helsinki, 2010) вступительная статья под авторством Н.Б. Вахтина, А. Мустайоки, Е. Протасовой называется «Русские языки», т.е. в самой постановке проблемы заложена идея, что русский язык в мире употребляется по-разному, но «тем не менее, это всегда русский язык» [2. С. 3, С. 5—16]. Выражение «русский язык» употреблено во множественном числе, т.е. в виде «русские языки». Авторы работы считают, что все виды лингва франка, возникающие и часто быстро исчезающие с участием (доминированием) русского языка — это разновидности русского языка, т.е. его варианты. Эту мысль они завершают следующим умозаключением: «*Русский язык объединяет людей, живущих в России и в разных государствах. Он и един, и различен*» [2. С. 13]. К разновидностям русского языка они относят и его функционирование с региональными лексическими и другими вкраплениями в любом инофонном регионе как внутри России, так и за ее пределами. Такая точка зрения в настоящее время является довольно распространенной. Подавляющее большинство авторов работ склонны считать или даже утверждать, что русский язык функционирует и в вариантах.

В той же статье («Русские языки») авторы выделяют разновидности (по их мнению, варианты) русского языка, оформив мысль следующим образом:

«В настоящем сборнике мы представляем целый спектр исследований, связанных со следующими проблемами: — устойчивые варианты русского языка на территории России; — контактные варианты русского языка в России; — контактные варианты русского языка в СНГ; — новые контактные варианты русского языка в России; — контактные варианты русского языка вне России; — особенности многоязычного общения» [2. С. 14].

Мы согласны с тем, что в функционировании русского языка на разных географических пространствах есть свои региональные особенности. И тем не менее отметим, что:

во-первых, «устойчивые варианты русского языка в России» мы бы назвали инвариантом русского языка. Инвариант бывает один. Вариаций и вариантов может быть несколько. Поэтому мы предлагаем не говорить об «устойчивых вариантах», т.е. не употреблять это выражение во множественном числе в отношении современного русского литературного языка, потому что устойчивость не предполагает изменчивость, т.е. вариативность или вариационность. Это, по нашему мнению, инвариант. К тому же следует отметить, что устойчивый вариант русского языка (инвариант) функционирует не только в России, но и, например, во всех странах СНГ, в республиках Балтии, а также в Грузии, а фрагментарно (т.е. географически локализованно) и в некоторых странах дальнего зарубежья. (О понятиях «инвариант», «вариация», «вариант русского (и не только русского) языка» будет сказано на последующих страницах данной работы);

во-вторых, «контактные варианты русского языка» в России и в СНГ, «новые контактные варианты русского языка» в России и вне России, на наш взгляд, следует называть вариациями русского языка, но не вариантами;

в-третьих, следует четко дифференцировать «контактные варианты русского языка» (т.е., по нашему мнению, вариации) в СНГ и в странах дальнего зарубежья, потому что они все функционируют вне России (наряду с инвариантом), но степень функционирования русского языка, степень его контактирования с местными языками далеко не одинакова как в содержательном плане, так и в плане количественном.

Такая необходимость дифференциации функционирования вариаций русского языка (вариантов, с точки зрения авторов статьи) касается и разновидностей русского языка, которые авторы работы называют «новые контактные варианты русского языка в России». В данном случае к этой проблеме («новые контактные...») следует подходить шире и глубже, в связи с тем что «новые контактные...», т.е. новые условия контактирования русского языка и местных языков, функционирование там соответствующих новых вариаций русского языка характерно не только для внутренних (российских) социолингвистических условий русского языка, но и для каждой страны СНГ в отдельности, для каждой страны дальнего зарубежья, и нередко — для отдельных регионов этих стран, так как русский язык может иметь незначительно или существенно видоизмененные вариации (варианты, по мнению авторов названной выше статьи) в разных регионах одного и того же государства СНГ (например, в г. Ташкенте и в г. Самарканде или в г. Бухаре Республики Узбекистан).

Позиции специалистов по данной проблеме совпадают в том, что современный русский язык имеет свои региональные нюансы, но разнятся в определении этих региональных особенностей (вариант или вариация), в том, что они уже сформированы или же находятся в стадии формирования. Так, если Н.Б. Вахтин, А. Мустайоки, Е. Протасова, Е. Журавлева и др. считают, что варианты русского языка и внутри России, и за ее пределами уже сформированы, то Э.Д. Сулейменова говорит о вероятности формирования варианта русского

в Казахстане [4], а М. Джусупов (автор данной работы) считает, что современный русский литературный язык функционирует в инварианте и в вариациях, но не в вариантах (о чем подробно будет сказано ниже).

Язык не всегда и не везде функционирует в одном и том же виде, т.е. в одних и тех же единицах, в одних и тех же их парадигматических и синтагматических отношениях [См.: 9; 10 и др.].

Объясняется это тем, что язык, в своем функционировании выйдя за пределы пространства, в котором он является средством общения его генетических носителей, начинает контактировать с другими языками [11; 12; 13 и др.]. Этот процесс характеризуется четырьмя особенностями.

1. Язык в процессе контактирования с другим языком вбирает в себя некоторые элементы этого языка, т.е. становится языком-реципиентом.

2. Язык в процессе контактирования с другим языком привносит в него свои элементы, т.е. становится языком-донором.

3. Язык, который доминирует в этом процессе контактирования, начинает выполнять функции межнационального общения в большом объеме.

4. Носители контактирующих языков начинают формироваться как билингвы. При этом следует отметить, что в процессе языкового контакта билингвальными становятся, как правило, носители недоминирующего языка. Например, в бывшем Советском Союзе и в современном СНГ билингвами являются коренные носители не русского языка, а других языков, т.е. в результате контактирования русского и других (например, тюркских) языков сформировался инофонно-русский билингвизм, который характеризуется разными типами и видами.

Функционирование языка, выполняющего в большом объеме функции межнационального общения, не бывает однородным, так как он контактирует с разными языками в разных географических пространствах. Например, в Центральной Азии евразийского пространства русский язык в процессе выполнения функции межнационального общения контактирует и с казахским, и с узбекским, и с киргизским, и с туркменским, и с каракалпакским языками, а также с таджикским языком. Каждое языковое контактирование внедряет в русский язык свои региональные особенности (прежде всего в лексику). В количественном отношении их немного, но по своей значимости в составе русской речи они весомы.

В настоящее время лингвисты, лингводидакты, методисты, социологи, культурологи и т.д. начали уделять большое внимание этому явлению. Поэтому *возникает проблема определения особенностей регионального функционирования русского языка в инофонной среде.*

Эта проблема состоит, как минимум, из трех аспектов.

1. Насколько много инофонных вкраплений в русской речи в том или ином регионе (например, в тюркоязычном регионе)?

2. Повлияли ли эти региональные особенности на структуру и содержание русской устной и письменной речи?

3. Следует или не следует по-новому называть функционирование русского языка в том или ином инофонном географическом пространстве: инвариантом, вариацией или вариантом русского языка? (Например, русский язык в тюркском мире — инвариант, вариация или вариант?)

В период советской власти такая проблема не ставилась, а если и ставилась, то не категорично, не концептуально. В советское время считалось, что современный русский литературный язык во всех географических пространствах используется в одних и тех же литературных нормах.

По сути, и в настоящее время современный русский литературный язык в мире функционирует в одних и тех же литературных нормах, но при этом в каждом регионе есть особенности влияния на него местных языков. Это прежде всего заметно на уровне лексики.

Итак, каков же этот русский язык, который используется в инофонных регионах?¹ Мы согласны с постановкой проблемы. Но мы не согласны с позицией определенной части специалистов, считающих, что русский язык в инофонной среде, которая оказала на него местное (региональное) языковое влияние, следует понимать как вариант современного русского литературного языка. Если идти, подчиняясь логике такого научного определения русского языка, то получается, что современный русский литературный язык существует и полноценно функционирует чуть ли не в двадцати, а то и в большем количестве литературных вариантов (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Каракалпакстан, Азербайджан, Грузия, Армения; Эстония, Латвия, Литва; Молдова; Дагестан, Северный Кавказ, Татарстан, Башкортостан, Республика Саха, Тува, Чувашия и т.д.).

Кому и зачем нужно такое раздирание современного русского литературного языка?

Мы с таким пониманием современного русского языка не можем согласиться: современный русский литературный является настоящей прочной и в то же время мягкой пружиной, которая, когда нужно, разжимается, а когда нужно, опять сжимается.

Далее мы постараемся ответить на эти вопросы и продемонстрировать, на наш взгляд, объективную научную позицию по данной очень дискуссионной общелингвистической и социалингвистической проблеме.

III часть

Функционирование современного русского литературного языка в современном мире (в регионах России и за пределами России) имеет свои особенности, которые характеризуются:

- ♦ постоянством литературных норм на всех его уровнях, а также в стилистике;
- ♦ региональными особенностями современного русского литературного языка, которые характеризуются вариационностью:
 - региональные особенности современного русского литературного языка в регионах России — в Татарстане и в Якутии; на Северном Кавказе и в Дагестане; в Калмыкии и в Чувашии и т.д.;
 - региональные особенности современного русского литературного языка за пределами России: в тюркском языковом пространстве Центральной Азии: в Казахстане; в Узбекистане и в Каракалпакстане; в Кыргызстане; в Туркменистане; в персоязычном Таджикистане; на Кавказе — в тюркоязычном Азербайджане; в Армении; в Грузии; в Украине; в Белоруссии; в Молдове; в государствах Балтии (Литва, Эстония, Латвия) и т.д.

Во всех этих регионах функционирование современного русского литературного языка имеет доминантные общие свойства, т.е. иерархические и другие нормы, которые обязательны для всех говорящих и пишущих на современном русском литературном языке.

Вместе с тем каждое языковое географическое пространство, в котором русский язык используется, имеет общие региональные особенности (например, тюркоязычный мир Центральной Азии).

¹ Мы этот вопрос ставили не для себя, а для науки русское языкознание, потому что именно в ней идут дебаты об определении или не определении русскому языку в инофонной среде статуса разновидности варианта или вариации русского литературного языка.

Однако внутри этого единого тюркоязычного мира региональные особенности в функционировании современного русского литературного языка не являются абсолютно одинаковыми.

Объясняется это тем, что русский язык в каждой республике контактирует с разными тюркскими языками (казахский, узбекский и каракалпакский, кыргызский, туркменский). У каждого из этих тюркских языков при больших общих чертах есть и своя специфика, которая и формирует региональные особенности функционирования современного русского литературного языка в каждой республике в отдельности.

Именно поэтому функционирование современного русского литературного языка при общетюркских региональных особенностях имеет и частнотюркские особенности: региональные особенности функционирования русского языка в Казахстане; в Узбекистане и Каракалпакстане; в Кыргызстане; в Туркменистане.

Таким образом, функционирование современного русского литературного языка в инофонном тюркоязычном речевом пространстве складывается из четырех составляющих, а следовательно, он может использоваться в инварианте и в вариациях.

*П*онятия *инвариант*, *вариация*, *вариант* и соответственно термины сформировались в недрах фонологии, а конкретно — в теории Московской фонологической школы (МФШ). [См. подробно: 14; 15. С. 47—74; 16. С. 72—81].

Инвариант — это позиционная разновидность фонемы, встречающаяся в сильной позиции по различительности (максимальной различительности), выполняющая смыслоразличительную и форморазличительную функции и входящая в состав только одной фонемы. Например, в словах *ас*, *мал* звук [а] — инвариант.

Современный русский литературный язык, функционирующий (или использующийся) с соблюдением всех его литературных норм без современных региональных (казахских, узбекских и т.д.) вкраплений, является инвариантом. В инварианте языка, конечно же, могут быть и есть ранние заимствования, т.е. вкрапления из других языков, которые уже давно стали достоянием данного языка, а его носителями они осознаются как родные. Например, такие слова русского языка, как *Байкал*, *Арбат*, *Саратов*, по происхождению тюркские, однако они являются показателями инвариантного состояния современного русского литературного языка и в настоящее время ни в коем случае не воспринимаются как показатели региональных особенностей.

Вариация — это позиционная разновидность фонемы, встречающаяся в сильной позиции по различительности (максимальной различительности), но в слабой позиции по обусловленности (максимальной обусловленности), так же, как инвариант, выполняющая смыслоразличительную и форморазличительную функции и входящая в состав только одной фонемы, т.е. вариация по своим артикуляционным и акустическим свойствам (по звучанию) не совпадает с другой фонемой, с другим звуком. Вариация всегда похожа на инвариант. Например, в слове *мал* [м'ал] звук [а] — вариация.

Современный русский литературный язык, функционирующий (или использующийся) с соблюдением всех его литературных норм и с современными региональными (казахскими, узбекскими и т.д.) вкраплениями, является вариацией. В вариации языка имеют место языковые единицы из другого языка или из других языков, которые являются показателем особенностей функционирования его в инофонном речевом регионе. Эти региональные языко-речевые вкрапления не являются показателем инварианта, так как они генетическими носителями языка в настоящее время осознаются как неродные (заимствованные). Именно эти региональные иноязычные языковые единицы и являются показателем вариационности (т.е. конкретной вариации) языка. Например:

Казахстан: В ауле много плодовых деревьев, которые дают большой урожай: черешни, винограда, урюка. (В **ауле**, а не в деревне; **урюка**, а не абрикоса);

Узбекистан: В кишлаке большой праздник: накрыт дастархан, в строгих чапанах аксакалы. (В **кишлаке**, а не в деревне; в **чапанах**, а не в халатах, а не в пальто; **аксакалы**, а не старики, а не старцы).

Вариант — это позиционная разновидность фонемы, встречающаяся в слабой позиции (минимальной различительности и максимальной обусловленности), которая не выполняет в полной мере смысловозначительную и форморазличительную функции и входит в состав более чем одной фонемы. Вариант по своим артикуляционным и акустическим свойствам (по звучанию) совпадает с другой фонемой. Например, в словоформе *леса* [л'и'сá] фонема [e] по звучанию совпала с фонемой [и].

Современный русский литературный язык в настоящее время в варианте (или в вариантах) не функционирует, т.е. современный русский литературный язык — это единый литературный язык: у него нет литературных вариантов, которые имеются, например, у английского, испанского и некоторых других языков. И тем более современный русский литературный язык под влиянием региональных вкраплений не доходит до состояния совпадения с каким-то другим языком, который в том или ином географическом пространстве выполняет функции языка-донора.

В настоящее время современный русский литературный язык в инофонной речевой среде, например, тюркском мире Центральной Азии евразийского пространства, функционирует в инварианте и в вариациях. Например:

1. Современный русский литературный язык во всех своих обязательных фонетико-фонологических, акцентных, интонационных, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических и стилистических нормах (инвариант);

2. Современный русский литературный язык во всех своих обязательных нормах с вкраплением в него общетюркских языковых региональных особенностей (вариация);

3. Современный русский литературный язык во всех своих обязательных нормах с вкраплением в него частнотюркских языковых региональных особенностей (казахские, узбекские и каракалпакские, кыргызские, туркменские и др.) (вариация);

4. Современный русский литературный язык во всех своих обязательных нормах с вкраплением в него общетюркских и частнотюркских (казахских или узбекских, кыргызских или туркменских, ...) языковых региональных особенностей (вариация).

Современный русский литературный язык функционирует в тюркоязычном мире Центральной Азии в инварианте и в вариациях. Однако каждая из них имеет место, время и ситуации функционирования при серьезном доминировании общих для них речевых ситуаций, лингвистических и экстралингвистических реалий.

1. Современный русский литературный язык без общетюркских и без частнотюркских региональных особенностей, т.е. инвариант, в тюркском мире используется всегда, но особенно теми гражданами и социумами, которые:

не владеют и не понимают тюркские языки;

- ♦ в своей устной и письменной речи сознательно не используют тюркские языковые единицы, считая такой языкоречевой факт нарушением норм современного русского литературного языка;

- ♦ имеют высокое русскоязычное образование и не используют в своей русской речи региональные тюркские языковые единицы, но при этом их употребление другими гражданами не считают нарушением норм современного русского литературного языка.

На сегодняшний день использование русскими и русскоязычными современного русского литературного языка без региональных тюркских языковых единиц является доминантой во всех социальных сферах деятельности индивида (кроме сферы быта), в неофициальных и в разговорно-официальных взаимоотношениях между людьми.

2. Современный русский литературный язык с общетюркскими языковыми единицами (вариация) используется практически во всех социальных сферах тюркоязычного мира Центральной Азии. Однако его использование по частотности и массовости уступает использованию современного русского литературного языка без региональных тюркских языковых особенностей и использованию современного русского литературного языка с общетюркскими и частнотюркскими языковыми единицами.

Ее (этой вариации) отличие от вариации современного русского литературного языка с общетюркскими и частнотюркскими языковыми единицами заключается в том, что используемые в ней региональные языковые единицы свойственны (или присутствуют) во всех тюркских языках вообще или хотя бы во всех тюркских языках республик Центральной Азии.

Например: *Ой, какая маленькая кызымка.* В этом предложении языковая региональная общетюркская единица — слово *кызымка*. Общетюркское слово *кыз* 'девочка' в вариантах произношения и написания — *кыз, киз, кыз* есть и в казахском, и в узбекском, и в киргизском, и в каракалпакском, и в уйгурском, и в татарском, ... языках. Именно поэтому в этом русском предложении использована общетюркская языковая единица, т.е. *кыз*.

Современный русский литературный язык с общетюркскими региональными вкраплениями в чистом виде функционирует довольно редко. Как правило, функционирование современного русского литературного языка в тюркоязычном пространстве характеризуется наличием в нем региональных особенностей как общетюркского, так и частнотюркского происхождения.

3. Современный русский литературный язык с частнотюркскими региональными языковыми единицами (вариация) функционирует во всех социальных сферах тюркоязычного мира Центральной Азии. Тем не менее, его функционирование и по массовости, и по частотности использования уступает функционированию современного русского языка без региональных тюркских языковых единиц (инвариант), а также частотности использования современного русского литературного языка с общетюркскими и частнотюркскими языковыми единицами. Его особенностью является то обстоятельство, что используемые в нем частнотюркские языковые единицы характерны только для одного тюркского языка или лишь для двух-трех тюркских языков.

Например: *Казахстан. Баурсаки были крупными и сочными.* В этом русском предложении использовано казахское слово *баурсақ*. *Баурсақ* — это разновидность казахского мучного продукта (блюда), красивого, сочного, в чем-то похожего на русские пончики. В узбекском или уйгурском языке это слово не употребляется, а если и употребляется, то на территориях, где есть влияние казахского языка. Например, некоторая часть ташкентских узбеков употребляет слово *баурсақ*, так как много веков живут в большом культурном контактировании с казахами. Баурсаки являются одним из национальных символов казахского застолья. В данном случае мы имеем дело с частнотюркским вкраплением языковых единиц в русскую речь, функционирующую в Казахстане.

Если даже узбеки или уйгуры угощают гостей баурсаками (но очень непохожими на казахские), то все равно в их менталитете баурсаки ни в коем случае не являются национальным символом узбекского или уйгурского застолья.

Узбекистан. *Наша махалля благоустроенная*. В этом русском предложении использовано узбекское слово *махалля*.

Махалля — это: а) городской квартал; б) квартал в большом кишлаке (деревне). Махалля для узбека — символ места рождения, местожительства, символ родины, ибо родина начинается с малого — с родной стороны. (*С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина?..* М. Матусовский).

Все это и многое другое является составляющими содержания понятия «родина».

Узбекский символ родины — махалля — состоит из всего того, о чем поется в этой русской (советской) песне и плюс узбекских специфических составляющих микрородины махалля: махаллинская чайхана, махаллинская тойхана, махаллинский детский сад, махаллинский магазин, махаллинская парикмахерская и, конечно же, махаллинский комитет (управление махалли) и др.

В данном случае мы также имеем дело с частнотюркским (узбекским) вкраплением в русскую речь, функционирующую в том же тюркоязычном пространстве, но уже в Узбекистане. В казахском, кыргызском или каракалпакском языках слово *махалля* не употребляется, а если и употребляется казахами и кыргызами, проживающими в Узбекистане, то исключительно редко, и не имеет высокой символической значимости.

4. Современный русский литературный язык с общетюркскими и частнотюркскими языковыми региональными единицами (вариация) функционирует достаточно широко, но менее часто и менее плотно, чем современный русский литературный язык без тюркских языкоречевых вкраплений (инвариант), но чаще и плотнее, чем современный русский литературный язык только с общетюркскими или только с частнотюркскими языковыми единицами (вариация).

Таким образом, современный русский литературный язык с общетюркскими и частнотюркскими региональными вкраплениями является наиболее часто функционирующим среди трех вариаций русского языка в тюркском языковом пространстве. Использование этой вариации русского языка не имеет жестких запретных границ: она используется во всех функциональных стилях русского языка в тюркском мире Центральной Азии, но прежде всего в разговорном и в публицистическом стилях.

IV часть

Современный русский литературный язык в тюркском мире Центральной Азии и шире не имеет литературных вариантов, т.е. не функционирует в вариантах. Современный русский литературный язык, функционирующий в Центральной Азии и в других инофонных речевых регионах, остается, прежде всего, инвариантным, но с региональными элементами (вкраплениями), которые свидетельствуют о его вариационности. Нефункциональность в вариантах современного русского литературного языка доказывается тем, что все его свойства, впитанные его генетическими носителями, полностью присутствуют и в русской речи русскоязычных индивидов и социумов, находящихся в инофонной речевой среде, а региональные вкрапления не изменяют его русского древа, т.е. современный русский литературный язык за пределами России (прежде всего) не становится непохожим на современный русский литературный язык внутри России.

О функционировании современного русского литературного языка как в инофонных регионах России, так за пределами России следует говорить как о функционировании его инварианта и вариаций. Вариация имеет некоторые отличительные черты от инварианта, но тем не менее в ней всегда четко просматривается инвариант. В варианте же, как уже было сказано выше, инвариант не просматривается, потому что он (вариант) не только во многом не совпадает с инвариантом, но даже в чем-то лингвистически существенном становится похожим на инвариант или вариацию другого языка, который вкрапливает в него свои элементы в том или ином инофонном речевом пространстве.

Таким образом, в настоящее время у современного русского литературного языка, функционирующего в инофонных речевых регионах как внутри России, так и за ее пределами, есть один инвариант и вариации, но нет литературных вариантов.

Региональные особенности функционирования русского литературного языка в Центральной Азии заключаются в том, что в него вкрапливаются тюркские языковые единицы, наличие которых в русской речи сегодня не изменяет нормы русского литературного языка и не создает новый его литературный вариант.

В настоящее время можно говорить о тюркских и других лексических внедрениях в систему русской звучащей и письменной речи, например, в Центральной Азии, но — не о фонологических, не о словообразовательных, не о морфологических, не о синтаксических.

Особенности функционирования современного русского литературного языка в условиях инофонии, бифонии и полифонии, когда осуществляется процесс контактирования его как с родственными (украинский, белорусский, ...), так и с неродственными (татарский, башкирский, ...; казахский, узбекский, ...; таджикский и др.) языками, как научная проблема, по всей видимости, будет стоять еще достаточно долгое время. Объясняется это тем, что доводы специалистов в пользу определения варианта (вариантов) современного русского литературного языка, на наш взгляд, будут углубляться и расширяться. Однако мы уверены в том, что сегодня, завтра и послезавтра литературные варианты современного русского литературного языка не появятся, не сформируются хотя бы потому, что его распространение, изучение осуществляется через систему образования, которая в любой стране СНГ или за его пределами русский язык внедряет в единых нормах, т.е. в инварианте, и в той или иной степени с элементами вариации, но не варианта. К тому же в плане сохранения функционирования русского литературного языка в инофонных региональных условиях, прежде всего, в инвариантной форме, большую роль играют средства электронной связи. По этому поводу А.Д. Дуличенко пишет, что «регионализация не может далеко и глубоко зайти, потому что современные электронные средства связи просто не дадут распасться языку» [17. С. 6].

Мы думаем, что в будущем возможно появление литературного варианта (литературных вариантов) русского литературного языка (как, например, у английского, испанского, ... языков), но на сегодняшний день общелингвистическая, социалингвистическая, лингводидактическая, методическая и географическая реальность распространения современного русского литературного языка не может нас в этом убедить, так как:

- ♦ нет «новых» географических территорий, которые бы завоевывал русский язык в качестве языка, выполняющего в большом объеме функции межнационального общения;
- ♦ нет «новых» государств, государственных объединений, в Госстандартах образования которых русский язык обладал бы образовательным статусом обязательной общеобразовательной дисциплины школьного и вузовского образования;
- ♦ в варианте (вариантах) литературного языка, как правило, имеются элементы креолизации. Креолизация же появляется в условиях контактирования функционально

доминирующего языка с бесписьменными языками, или же когда инофонное общество низкограмотное или безграмотное. В настоящее время современный русский литературный язык в СНГ и за его пределами (Республики Балтии и т.д.) функционирует в высокообразованных государствах и обществах.

Заключение

Инвариант, вариация, вариант — триединство фонемного состава языка, а также языковых единиц, относящихся и к другим иерархическим системам языка. Инвариант обязателен. Вариация и вариант — не обязательны. Именно поэтому некоторые языковые единицы реализуются только в инварианте, некоторые в инварианте и в вариации (вариациях), некоторые — в инварианте и в варианте (вариантах), а некоторые во всех своих трех разновидностях (в инварианте, в вариации (вариациях), в варианте (вариантах)). Язык в целом также может реализовываться во всех этих трех разновидностях. Однако не все языки так реализуются. Есть языки, функционирующие только в инварианте; есть языки, функционирующие в инварианте и в вариантах (английский, испанский и др.); есть языки, функционирующие в инварианте и в вариации (в вариациях).

Современный русский литературный язык — это язык, который в настоящее время функционирует в мире в инварианте и в вариациях, но не в вариантах.

Литература

1. Джусупов М. Социоллингвистика, лингводидактика, методика (взаимосвязь и взаимообусловленность) // Русский язык за рубежом. — 2012. — № 1.
2. Вахтин Н.Б., Мустайоки А., Протасова Е. Русские языки // *Slavica Helsingiensia* 40. Instrumentarium of Linguistics: Sociolinguistic Approaches to Non-Standard Russian. — Helsinki, 2010.
3. Журавлева Е.А. Вариативность лексической системы: русский язык как полинациональный язык. АДД. — Алматы, 2007.
4. Сулейменова Э.Д. К осмыслению вероятности вариантного русского языка в Казахстане // *Slavica Helsingiensia* 40. Instrumentarium of Linguistics: Sociolinguistic Approaches to Non-Standard Russian. — Helsinki, 2010.
5. Рудяков А.Н. Георусистика и функциональная русистика // Филология и культура. Вестник Казанского (Приволжского) федерального университета. — 2012. — № 2.
6. Белоусов В.Н. Лингвокультурная специфика неисконной русской речи // *Instytut Rusystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet / Redakcja naukowa Ludmila Szpilewicz.* — Warszawa, 2008.
7. Джусупов М. Русский язык в тюркофонном речевом пространстве Центральной Азии // *Slavica Helsingiensia* 40. Instrumentarium of Linguistics: Sociolinguistic Approaches to Non-Standard Russian. — Helsinki, 2010.

References

1. Dzhusupov M. Sotsiolingvistika, lingvodidaktika, metodika (vzaimosvyaz' i vzaimoobuslovennost') // *Russkij yazyk za rubezhom.* — 2012. — № 1.
2. Vakhtin N.B., Mustajoki A., Protasova E. Russkie yazyki // *Slavica Helsingiensia* 40. Instrumentarium of Linguistics: Sociolinguistic Approaches to Non-Standard Russian. — Helsinki, 2010.
3. Zhuravleva E.A. Variativnost' leksicheskoy sistemy: russkij yazyk kak polinatsional'nyj yazyk. ADD — Almaty, 2007.
4. Sulejmenova E.D. K osmysleniyu veroyatnosti variantnogo russkogo yazyka v Kazakhstane // *Slavica Helsingiensia* 40. Instrumentarium of Linguistics: Sociolinguistic Approaches to Non-Standard Russian. — Helsinki, 2010.
5. Rudyakov A.N. Georustistika i funktsional'naya rusistika // *Filologiya i kul'tura. Vestnik Kazanskogo (Privolzhskogo) federal'nogo universiteta.* — 2012. — № 2.
6. Belousov V.N. Lingvokul'turnaya spetsifika neiskonnoj russkoj rechi // *Instytut Rusystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet / Redakcja naukowa Ludmila Szpilewicz.* — Warszawa, 2008.
7. Dzhusupov M. Russkij yazyk v tyurkofonnom rechevom prostranstve Tsentral'noj Azii // *Slavica Helsingiensia* 40. Instrumentarium of Linguistics: Sociolinguistic Approaches to Non-Standard Russian. — Helsinki, 2010.

8. Джусупов М. Языковое контактирование и проблемы функционирования русского литературного языка // Седьмые Виноградовские чтения. Материалы. Узбекский государственный университет мировых языков. Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан. — Ташкент, 2011.

9. Алпатов В.М. 150 языков и политика: 1917—2000: Социоллингвистические проблемы СССР постсоветского пространства. — М., 2000.

10. Дешериев Ю.Д. (ред.). Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. — М., 1987.

11. Крысин Л.П. (ред.). Речевое общение в условиях языковой неоднородности. — М., 2000.

12. Крысин Л.П. (ред.). Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация. — М., 2003.

13. Мустайоки А., Протасова Е. (ред.). Русскоязычный человек в иноязычном окружении. — Helsinki, 2004.

14. Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. Очерк грамматики русского литературного языка. Ч. 1. Фонетика и морфология. — М., 1945.

15. Реформатский А.А. О расхождении МФШ с ленинградскими фонологами // Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. Очерк. Хрестоматия. — М., 1970.

16. Джусупов М. Фонемография А. Байтурсынова и фонология сингармонизма. — Ташкент, 1995.

17. Дуличенко А.Д. Русский язык: от века XX к веку XXI... // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. — 2013. — № 1. — С. 3—11.

8. Dzhusupov M. Yazykovoe kontaktirovaniye i problemy funktsionirovaniya russkogo literaturnogo yazyka // Sed'mye Vinogradovskie chteniya. Materialy. Uzbekskij gosudarstvennyy universitet mirovykh yazykov. Predstavitel'stvo Rossotrudnichestva v Respublike Uzbekistan. — Tashkent, 2011.

9. Alpatov V.M. 150 yazykov i politika: 1917—2000: Sotsiolingvisticheskie problemy SSSR postsovetского prostranstva. — M., 2000.

10. Desheriev Yu.D. (red.). Vzaimovliyaniye i vzaimo-obogascheniye yazykov narodov SSSR. — M., 1987.

11. Krysin L.P. (red.). Rechevoe obscheniye v usloviyakh yazykovoy neodnorodnosti. — M., 2000.

12. Krysin L.P. (red.). Sovremennyy russkiy yazyk. Sotsial'naya i funktsional'naya differentsiatsiya. — M., 2003.

13. Mustajoki A., Protasova E. (red.). Russkoyazychnyy chelovek v inoyazychnom okruzhении. — Helsinki, 2004.

14. Avanesov R.I., Sidorov V.N. Ocherk grammatiki russkogo literaturnogo yazyka. Ch. 1. Fonetika i morfologiya. — M., 1945.

15. Reformatskiy A.A. O raskhozhdeniyakh MFSh s leningradskimi fonologami // Reformatskiy A.A. Iz istorii otechestvennoy fonologii. Ocherk. Khrestomatiya. — M., 1970.

16. Dzhusupov M. Fonemografiya A. Bajtursynova i fonologiya singarmonizma. — Tashkent, 1995.

17. Dulichenko A.D. Russkiy yazyk: ot veka XX k veku XXI... // Filologicheskie nauki. Nauchnye doklady vysshey shkoly. — 2013. — № 1. — S. 3—11.



Джусупов Маханбет,

доктор филологических наук, профессор
кафедра русского языка, заслуженный профессор, почетный заведующий кафедрой
Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент

Dzhusupov Mahanbet,

Doctor of Philology, Professor,
Chairman of Russian Language
Uzbekistan State University of World Languages, Tashkent

E-mail: mah.dzhusupov@mail.ru



И.Г. Овчинникова,
Л.Л. Черепанова

О методике анализа некооперативной стратегии в дискурсе СМИ¹

В статье обсуждается принцип кооперации применительно к коммуникации в медиадискурсе. Отступления от принципа кооперации становятся типичными в современных средствах массовой информации. Исследование направлено на решение актуальной задачи разработки методики выявления и анализа некооперативной стратегии в условиях массовой коммуникации. Цель статьи — охарактеризовать предлагаемую авторами методику анализа коммуникации в СМИ, объединяющую дискурсивный и трансактивный анализ. Материалом исследования послужили стенограммы интервью одной из региональных телерадиостанций.

Ключевые слова: медиадискурс, принцип кооперации, речевая тактика, трансактивный анализ, региональные СМИ, телеинтервью.

The article deals with manifestation of cooperative principle in current media discourse in Russia. The objective of the study is to develop and describe a new variant of discourse analysis, sensitive to deviation of cooperative strategy in mass media. The variant of discourse analysis is based on psycholinguistic approach to communication and transaction analysis, created by Eric Bern. The trend in the current interview behaviour is to neglect cooperative principle. The widespread communicative tactic of non-cooperative strategy in interviews is a shift in the topic. The norms of the media communication are transformed under pressure of manipulative discourse, and become very close to ones in every-day-communication.

Keywords: media discourse, cooperative principle, communicative tactics, transaction analysis, regional media, interview.

К постановке проблемы

Язык и дискурс средств массовой информации в новом столетии неоднократно становился объектом исследования в различных аспектах: лингвистическом [15; 10], прагматическом [27], социо- и психолингвистическом [18]. Проблема влияния дискурса СМИ на речевую культуру, реализации в нем различных коммуникативных стратегий и дискурсивных практик не теряет актуальности в силу изменчивости социальной ситуации. Быстрые изменения общественного настроения приводят к трансформации информационной политики и отношения читателей и зрителей к различным СМИ и медиадискурсу в целом. Как раз смену информационной политики мы наблюдаем в последнее время в российских официальных СМИ. Между тем смена информационной политики совпала с расширением вариативности допустимых коммуникативных стратегий и речевых тактик. Становится едва

¹ Исследование проведено при поддержке средств гранта РГНФ № 13-14-59010.

ли не общепринятым отступление от важнейшего коммуникативного принципа — принципа кооперации. Принцип кооперации, сформулированный П. Грайсом, включает общеизвестные четыре основных постулата (максимы), регулирующие количество информации, ее качество, релевантность и ясность изложения [8]. В самом общем виде принцип выражает необходимость с каждым шагом диалога приближать достижение поставленной цели социального взаимодействия. В таком случае некооперативной коммуникативной стратегией считается та, при которой сознательно нарушается один из постулатов (максим). В настоящей статье мы предлагаем методику анализа некооперативной стратегии сообщения в СМИ на материале телевизионного интервью.

Эволюция дискурса СМИ происходит под влиянием как сознательного регулирования этой социальной сферы, так и относительно стихийно, под воздействием «обратной связи», то есть отношения воспринимающих сообщения СМИ членов социума. Эта эволюция дискурса проявляется как в языковой политике, так и в расширении границ допустимого в коммуникации поведения, в тематических предпочтениях и переориентации на иную целевую аудиторию. Если языковая политика касается изменений речевого кода, то есть ужесточения или смягчения речевых норм, то расширение границ допустимого коммуникативного поведения затрагивает менее очевидные нормы публичного поведения, в том числе ограничения на демонстрацию собственного отношения к собеседнику. Сдвиги в предпочитаемом и социально поддерживаемом стиле общения наиболее заметны в отступлении от принципа кооперации, характерном для изданий разных жанров и идеологии. Читатели, слушатели и зрители оценивают изменения коммуникации в публичной сфере как сигнал изменения норм поведения и речи в публичном общении. Дискурс СМИ одновременно отражает изменения в языковом сознании членов социума и тем или иным образом стимулирует эти изменения [5. С. 8—10].

В целом разнообразие речевых тактик в СМИ обусловлено глобальной задачей, решаемой в данной сфере социального взаимодействия — распространении информации и обеспечении доступности, непредвзятости и правдивости предоставляемых сведений [13]. Изменения социальной ситуации, принципиальные несовпадения ментальности и напряженность в отношениях между разными социальными группами выражаются в том, что теперь считается оправданным применение коммуникативных стратегий и речевых тактик, ранее недопустимых в медиадискурсе. Нередко в медиадискурсе проявляется повышенная эмоциональность межличностного общения, апелляция к оценке и склонность к конфронтации в целом. Все чаще СМИ используют целый арсенал манипулятивных тактик, игнорируя принцип кооперации [25]. Между тем принцип кооперации именно в массовой коммуникации особенно актуален, поскольку коммуникативной целью создающего сообщение журналиста является детализация информации и как можно более полная характеристика выбранной для сообщения темы.

Возникший диссонанс между прескриптивной нормой и среднестатистической «нормой» коммуникативного поведения в СМИ предполагает необходимость выявления инвентаря и дистрибуции часто встречающихся, но социально неодобряемых коммуникативных и речевых тактик. При том, что проявления речевой агрессии исследованы и описаны достаточно подробно, остальные речевые тактики, нарушающие принцип кооперации, охарактеризованы довольно фрагментарно.

Особенно заметны отступления от принципа кооперации в интервью. Целесообразность использования определенной тактики или стратегии, отступления от принципа кооперации вне контекста вряд ли можно оценить, поскольку целесообразность зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. Разработка разноаспектной методики анализа на-

рушающих кооперацию коммуникативных стратегий и тактик, несводимых к языковому и жанровому анализу, становится актуальной задачей. Цель данной статьи — охарактеризовать разработанную авторами методику анализа сообщений СМИ на материале телеинтервью в аспекте соблюдения принципа кооперации, т.е. с точки зрения целесообразности или нецелесообразности обращения к некооперативной стратегии. Предлагаемая методика опирается на психолингвистический и дискурсивный анализ; для выявления психологического состояния коммуникантов используется трансактный анализ Э. Берна [3]. Материалом исследования послужили стенограммы интервью одной из региональных телерадиостанций². Выбор регионального материала обусловлен необходимостью доказать типичность обсуждаемой стратегии не только для центральных СМИ определенной общественно-политической ориентации, но и для официальных компаний теле- и радиовещания по всей России.

Итак, приходится признать, что действующие речевые нормы коммуникации, в том числе и массовой, допускают обращение представителей СМИ к некооперативной коммуникативной стратегии, к использованию манипулятивных тактик и речевой агрессии [26]. Манипулятивные тактики и речевая агрессия нарушают максимум релевантности информации. Отступление от принципа кооперации, на наш взгляд, затрудняет как достижение поставленной журналистом коммуникативной цели, так и прояснение проблемной ситуации и информирование слушателей и читателей. Проверим это допущение на материале интервью на региональном телевидении и определим посредством нашей методики характеристики некооперативной стратегии.

Дискурсивный, интенциональный и трансактный анализ как основа выявления и описания некооперативной стратегии

Охарактеризуем теоретические основы нашей методики.

Психолингвистический подход к анализу дискурса СМИ

Дискурсивный анализ массовой коммуникации, являясь частной формой научного анализа, предполагает формализацию объектов. Дискурс представляет собой практику использования языка для воплощения определенной ментальности с целью организации и оптимизации социального взаимодействия в определенной сфере. Поскольку для дискурса существен и когнитивный (ментальный) и коммуникативный (социальный) аспекты, для формализации дискурса как объекта исследования можно использовать аппарат описания ментальной и коммуникативной активности. Обращение к аппарату описания ментальной активности предполагает формализацию содержания дискурса: выделение концептов, фреймов и скриптов. Коммуникативную активность, в свою очередь, рассматривают с разных позиций. Вообще аппарат описания коммуникативной активности при исследовании дискурса выбирают чаще, особенно в сфере массовых коммуникаций [16]. С позиций прагматики в составе текстов выделяют различные речевые акты и описывают иллокутивную силу высказываний. С позиций речевой системности стремятся охарактеризовать совокупность языковых средств, характерных для определенного речевого жанра и стиля [23. С. 202—207]. Коммуникативная активность рассматривается в своем единстве с когнитивной при изучении дискурса с психолингвистической позиции. При таком подходе выявляют релевантные взаимодействию коммуникантов единицы дискурса и пытаются установить их значимость

² В статье использованы примеры из дипломной работы О. Шибановой «Речевое воплощение эго состояний участников телевизионного интервью». — Пермь, ПГНИУ, 2011.

для восприятия смысла сообщения [18]. При любом подходе целью анализа является выявление моделей взаимодействия коммуникантов, кооперативного или некооперативного, и определение функции сообщения в рамках медиадискурса. На наш взгляд, в большей мере целостному описанию единства порождения и восприятия каждого акта коммуникации в медиадискурсе соответствует психолингвистический подход. В рамках психолингвистического подхода для характеристики ментальной активности в коммуникации используют не только собственно когнитивный аппарат, но и интенциональный, т.е. характеризующий интенции и установки коммуникантов.

Любой дискурс воссоздает социальную реальность, формируя коллективную идентичность [17]. В СМИ направленность на формирование коллективной идентичности особенно очевидна, поскольку каждое из сообщений имеет определенную целевую аудиторию, с интересами и ценностями которой и солидаризируется журналист. В этом смысле коммуникация журналиста всегда кооперативна, в то время как по отношению к собеседнику или персонажу принцип кооперации соблюдается не всегда. Кооперация с собеседником телеинтервью предусмотрена журналистской этикой как одно из условий получения непредвзятой информации. Отступление от принципа кооперации со стороны журналиста не всегда бывает намеренным. Хотя зачастую такого рода отступление провоцирует собеседник, выбор следовать или не следовать кооперативной стратегии остается за журналистом. Формируемая коллективная идентичность, в соответствии с законами медиадискурса, объединяет журналиста и читателя, зрителя, слушателя, однако отнюдь не всегда включает собеседника конкретного интервью.

Речевая тактика как инструмент формального описания некооперативной стратегии

Формализация кооперации для описания дискурса возможна на основе выявления коммуникативной стратегии и речевых тактик. Выделение стратегии и тактик позволяет вычленить определенные этапы реализации кооперации, оценить меру кооперативности, определить целесообразность речевых тактик.

Коммуникативная стратегия — это общий план, сознательно или неосознанно выбранный отправителем сообщения для организации необходимого социального взаимодействия; из коммуникативной стратегии вычлениают речевую стратегию, реализующуюся в выборе конкретных приемов и языковых единиц (ср.: [11]; [4. С. 21—48]). Соответственно, тактика представляет собой прием реализации стратегии, конкретный речевой акт в совокупности всех его характеристик и прогнозирование реакции партнера по коммуникации.

Речевые тактики, в отличие от приемов и тропов, используемых говорящим / пишущим, выражаются не отдельной языковой единицей в контексте высказывания, а совокупностью вербальных и невербальных средств в диалогическом единстве. Таким образом, арена проявления речевой тактики — это всегда диалогическое единство. Наиболее явным вариантом диалогического единства является вопросно-ответное единство в диалоге; на арене вопросно-ответного единства речевые тактики достаточно очевидны. Более сложные варианты диалогического единства представляют речевые жанры как устойчивые модели коммуникативного поведения. Речевая тактика в рамках такого диалогического единства отражает актуальный мотив и интенцию в соответствии с текущим социальным взаимодействием, направлена на коррекцию взаимодействия в соответствии с его задачами в понимании говорящего / пишущего. В этом отношении речевая тактика является формальным проявлением принципа кооперации в коммуникативном акте.

Коммуникативные и — уже — речевые тактики выделены и определены Ван Дейком [7] в соответствии с реализацией в них намерений говорящего (пишущего). Намерения го-

ворящего выявляют посредством интенционального анализа. Интенциональный анализ [9. С. 145—152], позволяя обнаружить интенции и установки участников общения, подразумевает обращение к психологии коммуникации и исследованиям психологического состояния коммуникантов и его трансформации в процессе общения [1. С. 16—25]. Наиболее простым и релевантным дискурсу СМИ способом описания психологического состояния, фиксирующим как постоянные, предпочитаемые, так и текущие характеристики, является трансактный анализ Эрика Берна.

Трансактный анализ как способ описания ментальной активности собеседников в коммуникации

Психологическое состояние, или эго-состояние, определяет коммуникативную установку вступающего в общение человека [3]. Для каждого индивида характерно одно из предпочитаемых эго-состояний, которое проявляется спонтанно, без сознательных усилий с его стороны. Между тем, вследствие необходимости социального взаимодействия и в соответствии с правилами коммуникативного поведения, предполагается варьировать эго-состояние в зависимости от текущего социального контекста. Особую важность сознательная манипуляция собственным эго-состоянием и эго-состоянием партнера приобретает в условиях профессионального общения и массовой коммуникации.

Оптимальной трансакцией, или оптимальным взаимодействием, считают такое, при котором интенции говорящего и ожидания слушающего симметричны: Взрослый — Взрослый, Родитель — Ребенок, Ребенок — Родитель. В наибольшей степени медиадискурсу, как любой из сфер публичного общения, соответствует трансакция Взрослый — Взрослый. От эксплицитированной на словах и в невербальных компонентах коммуникации явных трансакций отличают трансакции скрытые, характеризующие интенции и мотивацию. Для выявления скрытых трансакций необходим специальный анализ акта коммуникации в единстве всех его компонентов. Зачастую скрытые трансакции проявляются в манипулятивных речевых тактиках. Само определение манипулятивных тактик акцентирует неявные интенции отправителя сообщения, завуалированные эксплицитированной приверженностью принципу кооперации.

Коммуникативная интенция может быть ориентирована на решение проблемы, актуальной в данном акте социального взаимодействия, или на изменение отношений между участниками коммуникации прежде всего (например, борьба за лидерство в поисках решения проблемы). В каждом из актов социального взаимодействия присутствуют обе ориентации, коммуникативные интенции собеседников варьируют, приближаясь то к одному, то к другому полюсу. Степень тяготения к полюсам зависит не в последнюю очередь от эго-состояния. В медиадискурсе ведущую роль играет реализация коммуникативной цели журналиста, а именно получение и обсуждение информации, при условии соблюдения профессиональной этики и, конечно же, постулатов (максим) Грайса [8. С. 217—283]. Постулаты (максимы) общения Грайса проще всего соблюдать в условиях оптимальных симметричных трансакций, при которых эго-состояния партнеров позволяют прогнозировать реплики собеседника и корректировать коммуникативное поведение в ходе общения. В остальных трансакциях необходима коррекция коммуникативного поведения в соответствии с эго-состоянием партнера.

Самым прозрачным жанром СМИ, в котором интенции и эго-состояния проявляются наиболее явно и изменяются по мере развертывания общения, является интервью. Интервью — один из наиболее популярных журналистских жанров, предполагающий как метод получения информации, так и способ ее презентации аудитории. Участники интервью подготовлены к диалогу; предполагается, что респондент будет следовать принципу кооперации во время интервью, а интервьюер — соблюдать журналистскую этику. В ходе интервью необходимы

прямой контакт журналиста с респондентом и запись их устной непринужденной беседы, причем оба коммуниканта вольны прибегать к легитимным речевым и психологическим тактикам для достижения своих коммуникативных намерений.

Методика анализа некооперативной стратегии телеинтервью

Характеристика интервью как жанра

В современной журналистике принято выделять несколько видов и форм интервью: информационное, оперативное, расследование, портрет; беседа, пресс-конференция, брифинг и др. (см., напр.: [14]). В любом случае интервью представляет собой сообщение, призванное детализировать информацию и основания для ее интерпретации с разных, порой противоположных позиций. Детализация информации и возможность ее различной интерпретации призвана способствовать взаимопониманию, общественному согласию и оптимизировать социальное взаимодействие.

Поскольку в интервью, как правило, принимают участие два собеседника, в передаваемом ими сообщении реализуются несовпадающие речевые интенции, а текст зачастую отражает противостояние и борьбу собеседников за способ подачи и полноту информации. Обычно интервьюер ставит перед собой такие цели, как сбор информации на актуальную тему; выяснение мнения и оценки эксперта по определенному вопросу; столкновение различных точек зрения на проблему; получение эмоционального отклика на событие и др. Поставленная цель предопределяет коммуникативное поведение журналиста, выбор им тактик общения с партнером. Между тем наряду с планируемыми параметрами интервью на ход беседы влияют и спонтанные факторы. К таким спонтанным факторам относится психологическое состояние респондента, определяющее его коммуникативное поведение во время интервью и провоцирующее изменение его эго-состояния.

Интервью развивается как запланированная беседа, в которой собеседники несимметричны по своему коммуникативному поведению и социальным ролям. Асимметрия интервьюера и респондента обуславливает различие в репертуаре используемых ими речевых актов, допустимых вариантов речевого поведения и невербальных реакций, а также проявляемого внешне настроения и эго-состояния.

Анализ проявлений отступления от принципа кооперации в телеинтервью

Так, интервью — это коммуникативное взаимодействие неравноправных коммуникантов с несовпадающими интенциями. Коммуникативную цель определяет журналист. В связи с этим журналисту естественно предпочесть кооперативную стратегию речевого поведения, чтобы добиться поставленной цели [24]. Причем кооперативной выбранная журналистом стратегия может быть как по отношению к собеседнику, так и по отношению к зрителю (слушателю, читателю). Дискурс СМИ предполагает, что по отношению к адресату интервью журналист кооперативен по определению, поскольку организующий данный дискурс признак — нацеленность на предоставление обществу полной разносторонней информации на заданную тему. Соответственно, в зависимости от принятой в социуме системы ценностей, в медиадискурсе проявляется та или иная степень кооперации с собеседником, вплоть до предпочтения некооперативной стратегии по отношению к собеседнику [21]. Выбор некооперативной стратегии интервьюеры обычно делают в эго-состоянии Родителя.

Как и в любом из диалогов, речевое поведение участников интервью включает элементы игры, ритуал и собственно обсуждение темы. Стереотипные элементы — ритуал, игра — обладают меньшим удельным весом по сравнению с обсуждением темы, хотя речевая игра

в интервью отнюдь не всегда сводится к воспроизведению стереотипа. И обсуждение темы, и речевая игра в интервью реализуются благодаря использованию речевых тактик как инструментов планирования и прогнозирования коммуникативного поведения партнера. Обычно речевую игру и ритуал используют как своеобразную декларацию принципа кооперации по отношению к собеседнику.

Респондент так же волен выбирать кооперативное или некооперативное речевое поведение [12; 2]. Интервьюер прогнозирует коммуникативное поведение респондента таким образом, чтобы оно соответствовало целям интервью, и направляет беседу в нужное русло посредством уместных в контексте вопросно-ответного диалогического единства речевых тактик, таким образом корректируя прогноз поведения партнера и влияя на его эго-состояние.

Между тем одна и та же речевая тактика не всегда приводит к прогнозируемому журналистом результату. Приведем пример различной реакции респондентов на использование журналистом речевой тактики утрирования в одном и том же сюжете. Как правило, преднамеренное значительное преувеличение значения события или его последствий дает положительный результат с точки зрения достижения коммуникативной цели, поскольку провоцирует собеседника на прояснение собственной оценки масштаба события.

Журналист: Скажите, Михал Иванович, а на сколько процентов подорожали молочные продукты за последнюю неделю?

Директор магазина: По-разному. На молоко, например, на 20%, на творог — 30%, на масло — 50%. И это еще не предел.

Журналист: Ого. Если так и дальше пойдет, то скоро рядовому покупателю надо будет кредит брать, чтобы молоко по утрам пить или хлеб с маслом есть.

Директор магазина: А что мы можем поделать, производители повышают цену, а мы не можем работать себе в ущерб, сами понимаете — арендная плата, зарплаты сотрудникам и прочие расходы.

Журналист: Спасибо за беседу.

Изначальная коммуникативная цель журналиста — получить объяснение повышению цен. Благодаря преувеличению последствий роста цен на молочные продукты интервьюер добился от респондента развернутого обоснования ценовой политики магазина. Тактика утрирования реализована в условной конструкции с предикатом в форме будущего времени, что психологически отодвигает угрозу неприятных последствий в сферу ирреальности / потенциальности; высказывание не содержит обвинения или осуждения собеседника. Оба коммуниканта на явном уровне реализуют стратегию кооперативного общения Взрослых. Между тем на уровне скрытой трансакции можно обнаружить переход интервьюируемого из эго-состояния Взрослого в эго-состояние Ребенка, ссылающегося на непреодолимые обстоятельства (*А что мы можем поделать?*) и поддерживающего кооперацию, о чем свидетельствует использование регулятива (*сами понимаете*).

Рассмотрим ту же речевую тактику в интервью с руководителем фермерского хозяйства.

Журналист: Цены растут с какой-то рекордной скоростью. Если так и дальше пойдет, то, чтобы кушать молочные продукты, скоро простым гражданам надо будет кредиты брать. Скажите, с чем это связано?

Руководитель: А от меня вы что хотите? Вы что на меня накинудись? Я не государство, я цены не контролирую! Интервью окончено!

В данном случае реакция респондента свидетельствует об эго-состоянии Естественного ребенка и отступлении от кооперативной стратегии. Журналист опустил ритуальный «вход»

в интервью. На наш взгляд, журналист невольно спровоцировал «бунт» респондента своим вопросом, имплицитно содержащим уверенность журналиста в том, что его собеседник несет ответственность за рост цен на молочные продукты; заданный вопрос нивелировал потенциальный характер предыдущего высказывания. Руководитель фермерского хозяйства не поддерживает обсуждение меры своей ответственности за ситуацию, демонстрирует речевую агрессию и апеллирует к авторитету государства. Нарушен постулат релевантности информации. Респондент отказался от кооперативной стратегии, поскольку счел некооперативным поведение самого интервьюера.

Нередко корреспондент выбирает утрирование в качестве тактики, провоцирующей собеседника, вынуждающей его оправдываться. Такая некооперативная стратегия журналиста призвана выразить его гражданскую позицию, готовность призвать респондента к ответу за происходящее. В оценке события журналист солидаризируется с телезрителями, а не со своим собеседником. Рассмотрим интервью, в котором интервьюер с самого начала выбрал некооперативную стратегию, агрессивное речевое поведение, и опишем использованные речевые тактики и приемы. Цель интервью — обсудить ситуацию распространения наркомании и выяснить предпринимаемые меры борьбы с ней.

Журналист: Игорь Владимирович, в городе невозможно находиться: наркоманы заполнили аптеки, использованные шприцы в подъездах и на детских площадках стали обычным явлением. Долго это будет продолжаться? Детей страшно на улицу отпустить гулять! Почему наша полиция бездействует?

Респондент: Вы же понимаете, что очереди в аптеках создают наркоманы, приобретающие таблетки, из которых впоследствии готовят дезоморфин. Адское зелье, замечу.

Не желая отвечать на поставленный вопрос, собеседник вынужден использовать речевые тактики, позволяющие ему нащупать почву для возможной кооперации, найти точки соприкосновения с корреспондентом, выражающим нелестное общественное мнение в эгосостоянии Родителя. В качестве кооперативных тактик используется апелляция к общему знанию (*Вы же понимаете...*) и солидаризация в оценке (*Адское зелье, замечу...*), причем объект оценки оказывается более частным, чем заявленная журналистом проблема. Респондент обращается к речевой тактике сдвига, смещению внимания с заданного вопроса на частности, что позволяет снизить эмоциональный накал и заменить выяснение причин и признание ответственности обсуждением деталей. В качестве приемов реализации тактики сдвига отметим преувеличение значимости детали: из упомянутых журналистом свидетельств распространения наркомании респондент сосредоточен на первом, самом безобидном — ситуации в аптеках. Насколько позволяет судить следующая реплика журналиста, тактика отчасти срабатывает. Журналист согласен с оценкой собеседника, но по-прежнему выражает несогласие с бездеятельностью. Сдвиг состоялся: корреспондент не возвращается к наиболее резким характеристикам ситуации, а повторяет вопрос, формулируя его более развернуто:

Журналист: Вы так спокойно об этом рассуждаете — адское зелье. Запретить его нельзя? Может, хватит отсиживаться по кабинетам, а следует принять меры?

Респондент: Ну, мы работаем в рамках закона. Это вопросы к законодателям, а не нам. Не мы утверждаем, что можно продавать в аптеках, а что нет.

Упоминание корреспондентом *адского зелья* позволяет респонденту сделать следующий шаг в сторону от обсуждаемой ответственности правоохранительных органов за распространение наркомании, ограничив тему обсуждения ответственности за утверждение списка доступных без рецепта лекарств. Сдвиг темы приводит к возможности передвинуть ответственность и попытаться подменить проблему. Журналист тем не менее остается верен своей некооперативной стратегии и не отступает от агрессивного развития темы ответственности, подчеркивая свою настойчивость регулятивом (*я повторяюсь*):

Журналист: Так можно постоянно ссылаться на тысячи причин «нам не положено». А что положено? Безответственность какая-то получается. Я повторяюсь, что вы собираетесь делать на уровне нашего города? Какие принимать меры?

Респондент: В том-то и дело, что не на уровне нашего города, а во всей стране. Захожу в сеть, читаю дайджест новостей: задержали наркодилера, арестовали продавца наркотиков, разогнали притон. Пишут это каждый день, а перемены не происходят. Может, стоит задаться вопросом — почему по телевидению, на новостных сайтах идет скрытая реклама психоактивных веществ?

Как видим, респондент также не меняет стратегии и настойчиво перемещает акценты, перекладывает ответственность на этот раз на средства массовой информации. Интервьюируемый пытается показать, что активность правоохранительных органов не приносит результатов по вине той организации, которую представляет его интервьюер. Благодаря регулятиву (*Может, стоит задаться вопросом*) сдвиг ответственности происходит без вербальной агрессии, а использование нейтрального родового наименования (*психоактивные вещества* вместо *наркотики*) снижает остроту обсуждаемой проблемы. Ссылка на *скрытую рекламу* представляет собой прием манипуляции слушающим, поскольку апеллирует к подсознательным страхам оказаться в зависимости от неких тайных сил; причем само выражение *скрытая реклама* появляется в результате подмены понятий: в высказывании упоминаются только новости, которые сами по себе скрытой рекламой не являются. Словом, респондент перекладывает ответственность на своего собеседника, критикуя его «сверху», что характерно для эго-состояния Родителя.

В ответ корреспондент использует уже знакомую тактику: демонстрирует согласие с оппонентом по частному вопросу, одновременно сдвигая обсуждение рекламной политики СМИ на периферию, противопоставляя прошлое и настоящее — о чем интервьюируемый даже не упоминал. Соглашаясь с оппонентом, журналист поддерживает заданную подмену понятий. О субъективной сложности перестройки с одной коммуникативной стратегии на другую свидетельствует речевой сбой в последней фразе реплики: *пока мы перестанем терять целые поколения*. Корреспондент окончательно принимает навязываемое ему эго-состояние Ребенка. Коммуникативная цель, поставленная интервьюируемым, достигнута: интервьюер больше не задает вопросы и не призывает к ответственности, не упрекает в бездеятельности. За три реплики в диалоге респонденту удалось переломить ход интервью и заменить тему ответственности правоохранительных органов более отвлеченной темой:

Журналист: Да, в моем детстве такой рекламы не было. Но мы же рассуждаем не о прошлом, а нашем настоящем. Проблему надо решать. И чем быстрее, тем лучше, пока мы перестанем терять целые поколения.

Респондент: Вспомните, сколько в вашем детстве было бесплатных кружков, секций, пионерлагерей. А сейчас вы знаете, чем заняты ваши

дети после школы? Мне смешно обо всем этом рассуждать, если власть, государство, я, вы — мы все вместе повернулись к молодежи, простите, «попой», о чем можно разговаривать?

В последней реплике интервьюируемый окончательно закрепил свой коммуникативный успех, прямо выразив солидарную ответственность за невнимание к проблемам молодежи. Подмена темы состоялась, о наркомании не упоминает даже журналист, ответственность распылена. Респондент использует риторический вопрос как прием вербальной агрессии, снижает серьезность поставленной журналистом проблемы (*смешно обо всем этом рассуждать*), ссылается на авторитеты (*власть, государство*), солидаризируется с журналистом (*мы все вместе*) и употребляет эвфемизм (*повернулись к молодежи, простите, «попой»*), нагнетая неблагоприятный для интервью эмоциональный фон.

Приведенный пример некооперативной стратегии, на наш взгляд, позволяет доказать ее непродуктивность. Поставленная журналистом коммуникативная цель осталась нереализованной, саму попытку эмоционального обсуждения злободневной общественной проблемы респондент успешно дискредитировал. Для дискредитации использованы весьма простые речевые тактики: сдвиг темы и подмена понятий, преувеличенное внимание к деталям (деструктурирование проблемы), незначительные уступки (согласие с оппонентом по частному вопросу), распыление ответственности. В приведенном примере нарушены практически все постулаты. Интервьюируемый, по существу, отказался давать информацию по теме, тем самым нарушив постулат количества, определяющий необходимость информировать собеседника настолько, насколько это необходимо для продолжения диалога и достижения цели взаимодействия. Постулат релевантности информации нарушен вследствие неоднократного сдвига темы и подмены понятий; вследствие использования тех же речевых тактик нарушен и постулат ясности формулировок.

Заключение

Исследователи языка массмедиа отмечают появление и распространение речевой агрессии [6], использование элементов жаргона социальных низов в медиадискурсе [30]. Психолингвистические экспериментальные исследования восприятия читателями текстов различной идеологической направленности и тематики позволили доказать, что адресаты текстов СМИ в состоянии оценить корректность интерпретации журналистами чужой речи и использования средств речевой манипуляции [28]. Читатели, радиослушатели и телезрители дифференцируют языковые привычки официальных лиц и их готовность к кооперации с журналистом [31; 20]. Несомненно, телезрители чувствительны к нарушению принципа кооперации и использованию дискредитирующих речевых (коммуникативных) тактик. Мы полагаем, что отмеченные тенденции развития коммуникации в СМИ обусловлены все большим распространением некооперативной стратегии. Собственно, все перечисленные черты отражают отступление от принципа кооперации, а именно нарушение максимы релевантности информации и ясности ее изложения. Полагаем, что предложенная методика анализа сообщений СМИ позволит распознавать приемы некооперативной стратегии.

Обычно журналист сохраняет кооперативную стратегию коммуникации с адресатом сообщения, то есть читателем, зрителем, слушателем, солидаризируясь с ним в системе ценностей и демонстрируя совпадающую коллективную идентичность. Между тем отступление от принципа кооперации по отношению к собеседнику усложняет журналисту решение поставленной коммуникативной задачи, поскольку ориентирует собеседника на несимметричное общение,

провоцирует его переход в эго-состояние Родителя или Ребенка. В качестве приметы отступления от принципа кооперации воспринимаются прямые вопросы об ответственности за непопулярные изменения, пренебрежение «ритуальными» репликами. Манипулятивными тактиками некооперативной стратегии выступают самые простые речевые тактики: сдвиг темы и подмена понятий, деструктурирование проблемы, согласие с оппонентом по частному несущественному вопросу, распыление и сдвиг ответственности. В результате трансформируется смысл целого сообщения и поставленная журналистом коммуникативная цель остается недостижимой.

Публичное общение приобретает черты межличностной коммуникации, характерные для бытовой сферы. На наш взгляд, основной характеристикой, сближающей публичное общение в СМИ с межличностной коммуникацией и определяющей все остальные совпадения, является допустимость проявления спонтанной смены эго-состояния и отступлений от принципа кооперации.

Литература

1. Александров Е.П., Борисова А.А. Опыт анализа интенциональных моделей субъектов социокультурного взаимодействия в медийном пространстве // Медиаобразование. — 2007. — № 1. — С. 16—25. — [URL]: http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_8a5fd1bc75c7a7d9c46574f5bd5813ed
2. Андреева В.Ю. Стратегии и тактики коммуникативного саботажа: автореф. дис. ... к. филол. наук. — М., 2009. — [URL]: <http://kursksu.ru/dissertations/dis168.pdf>
3. Берн Э. Трансактный анализ в психотерапии: Системная индивидуальная и социальная психотерапия. Пер. с англ. — М., 2006.
4. Борисова И.Н. Дискурсивные стратегии в разговорном диалоге // Русская разговорная речь как явление городской культуры. — Екатеринбург, 1996. — С. 21—49.
5. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Эволюция лингвистической советологии // Политическая лингвистика — Екатеринбург, 2007. — Вып. 3 (23). — С. 8—10.
6. Булыгина Е.Ю., Стексова Т.И. Проявление языковой агрессии в СМИ. — [URL]: http://library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=191
7. ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. Пер. с англ. — М., 1989.
8. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1985. — Вып. 16. — С. 217—283.
9. Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семисоциопсихологии // Общественные науки и современность. — 1996. — №3. — С. 145—152.
10. Дускаева Л.Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров: автореф. дис. ... д. филол. наук. — Пермь, 2004. — [URL]: <http://www.dissertat.com/content/metakommunikativnye-edinitsy-i-ikh-rol-v-organizatsii-i-regulyatsii-angloyazychnogo-dialogic#ixzz2a2739ErN>

References

1. Aleksandrov E.P., Borisova A.A. Opyt analiza intentsionalnyh modeley subjektov sotsiokulturnogo vzaimodeistviya v mediynom prostranstve // Mediaobrazovaniye. — 2007. — № 1. — S. 16—25. — [URL]: http://www.mediagram.ru/netcat_files/101/119/h_8a5fd1bc75c7a7d9c46574f5bd5813ed
2. Andreeva V.Yu. Strategiyi i taktiki kommunikativnogo sabotazha: avtoref. dis. ... k. filol. n. — M., 2009. — [URL]: <http://kursksu.ru/dissertations/dis168.pdf> Andreeva.
3. Bern E. Transaktnyi analiz v psihoterfgii: Sisitemnaya individualnaya i sotsialnaya psihoterapiya. Per. s angl. — M., 2006.
4. Borisova I.N. Diskursivnye strategii v razgovornom dialoge // Russkaya razgovornaya rech kak yavlenie gorodskoy kultury. — Ekaterinburg, 1996. — S. 21—49.
5. Budayev E.V., Chudinov A.P. Evolutsiya lingvisticheskoe sovetologii // Politicheskaya lingvistika. — Vyp. 3 (23). — Ekaterinburg, 2007. — S. 8—10.
6. Bulygina E.Yu., Steksova A.P. Proyavleniye yazykovoy agressii v SMI. — [URL]: http://library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=191
7. van Deyk T.A. Yazyk. Poznaniye. Kommunikatsiya. Per. s angl. — M., 1989.
8. Graiss G.P. Logika i rechevoye obscheniye // Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Per. s angl. — Vyp. 16. — S. 217—283.
9. Dridze T.M. Sotsialnaya kommunikatsiya kak tekstovaya deyatelnost v semisotsiopsihologii // Obshchestvennyye nauki i sovremennost. — 1996. — № 3. — S. 145—152.
10. Duskayeva L.R. Dialogicheskaya priroda gazetnyh rechevyh zhanrov: avtoref. dis. ... d. filol. nauk. — Perm, 2004. — [URL]: <http://www.dissertat.com/content/metakommunikativnye-edinitsy-i-ikh-rol-v-organizatsii-i-regulyatsii-angloyazychnogo-dialogic#ixzz2a2739ErN>

11. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. — М., 2008.
12. Лазуткина Е.М. Коммуникативные цели, речевые стратегии, тактики, приемы // Культура русской речи. — М., 2003. — [URL]: <http://www.dissercat.com/content/kommunikativnye-strategii-i-taktiki-v-sovremennom-gazetnom-diskurse-otkliki-na-terroristicheskie#ixzz2ZtgC0jki>
13. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста. — М., 2010.
14. Лукина М.М. Технология интервью. — М., 2003.
15. Лысакова И.П. Язык газеты и типология прессы. Социолингвистическое исследование. — СПб., 2005.
16. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. — М., 2003.
17. Михалева О.Л. Дискурс объекта vs дискурс субъекта: системообразующие признаки. — [URL]: <http://rus-lang.isu.ru/about/group/mikhaleva/state15/>.
18. Овчинникова И.Г., Черепанова Л.Л. Русский язык в региональном медиадискурсе // Старая площадь, 2008. — [URL]: www.rusistics.ru, www.slavistica.ru.
19. Певнева И.В. Особенности реализации коммуникативных стратегий в конфронтационных ситуациях педагогического общения // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Филология и искусствоведение». — 2008. — Вып. 25. — № 26 (127). — С. 30—31.
20. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. — М. 1997.
21. Романов А.А. Агрессивный дискурс в профессиональной коммуникации. — М., 2011.
22. Романов А.А. Системный анализ регулятивных средств диалогического общения. — М., 1988.
23. Салимовский В.А. Функциональная стилистика как речеведение // Вестн. Перм. ун-та. Российская и зарубежная филология. — 2010. — Вып. 5 (11). — С. 202—207.
24. Самохина Т.С. Эффективное деловое общение в контексте разных культур и обстоятельств. — М., 2005.
25. Стернин И.А. Модели описания коммуникативного поведения. — Воронеж, 2000.
26. Токарева М.А. Традиции смеха и улыбки в русской и западной культурах // Вестник МГУ. — Сер. 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2005. — № 3. — С. 91—103.
27. Фролов М.Е. Телевизионный дискурс информационно-аналитических программ (на материале программ криминально-правовой тематики НТВ): автореф. дис. ... к. филол. наук — Тверь, 2005.
28. Черепанова Л.Л. Дискурс региональных СМИ: психолингвистический аспект: автореф. дис. ... к. филол. н. — Пермь, 2007.
11. Issers O.S. Kommunikativnye strategii i tak-tiki russkoy rechi. — M., 2008.
12. Lazutkina E.M. Kommunikativnye tseli, re-chevyte strategii, taktiki, priyomy // Kultura russkoy pechi. — M., 2003. — [URL] <http://www.dissercat.com/content/kommunikativnye-strategii-i-taktiki-v-sovremennom-gazetnom-diskurse-otkliki-na-terroristicheskie#ixzz2ZtgC0jki>
13. Lazutina G.V. Professionalnaya etika zhurnalista. — M., 2010.
14. Lukina M.M. Tehnologiya intervju. — M., 2003.
15. Lysakova I.P. Yazyk gazety i tipologiya pressy. Sotsiolingvisticheskoye issledovanie. — SPb., 2005.
16. Makarov M.V. Osnovy teorii diskursa. — M., 2003.
17. Mihaliova O.L. Diskurs objekta vs diskurs subjekta: sistemoobrazuyuschiye priznaki. — [URL]: <http://rus-lang.isu.ru/about/group/mikhaleva/state15/>.
18. Ovchinnikova I.G., Cherepanova L.L. Russkiy oy yazyk v regionalnom diskurse // Staraya ploschad. — [URL]: www.rusistics.ru, www.slavistica.ru.
19. Pevneva I.V. Osobennosti realizatsii kommunikativnyh strategiy v konfrontatsionnyh situatsiyah pedagogicheskogo obscheniya // Vestnik Cheliabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. "Filologiya i iskusstvovedeniye". — Vyp. 25. — № 26 (127). — S. 30—31.
20. Petrenko V.F. Osnovy psihosemantiki. — M., 1997.
21. Romanov A.A. Agressivnyi diskurs v professionalnoy kommunikatsii. — M., 2011.
22. Romanov A.A. Sistemnyi analiz reguliativnyh sredstv dialogicheskogo obscheniya. — M., 1998.
23. Salimovskiy V.A. Funktsionalnaya stilistika kak rechevedeniye // Vestn. Perm. un-ta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya. — 2010. — Vyp. 5 (11). — S. 202—207.
24. Samohina T.C. Effektivnoye delovoye obsxneniye v kontekste raznyh kultur i obstoyatelstv. — M., 2005.
25. Sternin I.A. Modeli opisaniya kommunikativnogo povedeniya. — Voronezh, 2000.
26. Tokareva M.A. Traditsii smeha i ulybki v russkoy i zapadnoy kulturah // Vestnik MGU. — Ser. 19: Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsia. — 2005. — № 3. — S. 91—103.
27. Frolov M.E. Televizionnyi diskurs informatsionno-analiticheskikh programm (na materiale programm kriminalno-pravovoy tematiki NTV): avtoref. dis. ... k. filol. nauk. — Tver, 2005.
28. Cherepanova L.L. Diskurs regionalnyh SMI: psiholingvisticheskiy aspect: avtoref. dis. ... k. filol. n. — Perm, 2007.

29. Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. — М., 2003, 2004.

30. Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке / Под ред. М.Н. Володиной. — М., 2011.

31. Anderson Alison. Media, Culture, and the Environment Rutgers. — New Brunswick: University Press. — 1997.

29. Yazyk SMI kak object mezhdisciplinarnogo issledovaniya. — M., 2003, 2004.

30. Yazyk i diskurs sredstv massovoy informatsii v XXI veke. Pod red. M.N. Volodiny. — M., 2011.

31. Anderson Alison. Media, Culture, and the Environment Rutgers. — New Brunswick: University Press. — 1997.



Овчинникова Ирина Германовна,
д. филол. н., профессор
Пермский государственный национальный
исследовательский университет,
профессор Университета Хайфы, Израиль

Ovchinnikova Irina G.,
Doctor of Philology, Professor
Perm State University,
Professor at the University of Haifa, Israel

E-mail: ira.ovchi@gmail.com

Черепанова Лариса Львовна,
к. филол. н., доцент кафедры журналистики
Пермский государственный
национальный исследовательский
университет

Cherepanova Larisa L.
Candidate of Philology, Associate professor
Department of Journalism
Perm State University

E-mail: cherkaf@gmail.com



Г.В. Федюнева

Дискурсивное слово *то, того* и его дериваты в северо-восточных русских говорах¹

Рассматриваются дискурсивные возможности местоимения *то, того* и его дериватов в северо-восточных переселенческих говорах Республики Коми и Пермского края. Приводятся словообразовательные модели отместоименных междометий, прилагательных и местоименных глаголов, анализируется их роль в формировании диалектного дискурса. Основной функцией этих образований является маркирование речевых затруднений, которое выражается во временной замене ускользнувшего из памяти слова, восстанавливаемого из невербального контекста.

Ключевые слова: северо-восточные русские говоры, дискурс, дискурсивные слова, указательные местоимения.

The article deals with the discourse possibilities of the pronoun "*то, того*" and its derivatives in the North-Eastern resettlement sub-dialects of the Komi Republic and Perm Krai. Derivational models of pronouns-based interjections, adjectives and deictic verbs are presented; their role in dialect discourse formation is analyzed. The main function of these derivatives is marking speech difficulties that is expressed by means of temporal substitution of the words escaping from memory, filling of speech pauses with special interjections of hesitation and approximated nomination of information that is to be restored from the non-verbal context.

Keywords: the North-Eastern Russian sub-dialects, discourse, discursive speech, demonstratives.

Общеизвестно, что диалект отличается от стандартного национального языка прежде всего тем, что реализуется в конкретной речевой деятельности конкретного языкового коллектива. Диалектная речь, ее основные языковые характеристики непосредственно детерминированы форматом онлайн коммуникации и наиболее полно отражаются в дискурсе как основной форме существования диалекта. Руководствуясь конкретными иллокутивными потребностями самовыражения «здесь и сейчас», участники речевого события привлекают различные средства и механизмы актуализации языка, активно используют его референциальные возможности и внеязыковую ситуацию. Именно в условиях живого общения в языке формируются те особенности, появляется тот «местный» колорит, которые позволяют носителям данного языкового варианта относить себя к определенному социуму.

Одной из важнейших особенностей диалектной речи является неподготовленность говорящего к разговору. Спонтанность речевого акта, а также линейность и необратимость устной речи предполагают формирование высказывания непосредственно в процессе речепорождения: структура высказывания, его лексико-грамматическое оформление, не заданные в начале акта говорения или заданные частично, достраиваются непосредственно в речевом потоке. При этом целевые установки говорящего могут меняться, изменяя соответственно и функционально-коммуникативную направленность высказывания в целом.

¹ Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ проект № 12-14-11000.

Это приводит к различным отклонениям от норм стандартного языка, синтаксическим, акцентологическим, грамматическим и др. девиациям, разного рода нарушениям, структурным преобразованиям, речевым сбоям и др., которые требуют привлечения дополнительных средств «нормализации» речи.

К сигналам речевых затруднений обычно относят просодические (интонация, разного типа паузы: заполненные, незаполненные), паралингвистические (тембр, темп, громкость речи, жесты, позы, мимика) и дискурсивные (повторы, слова-паразиты, звуковые сигналы и др.) маркеры. В последней группе особый разряд составляют дискурсивные слова, под которыми обычно понимают «единицы, которые, с одной стороны, обеспечивают связность текста и, с другой стороны, самым непосредственным образом отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего, позицию говорящего» [1. С. 7]. В качестве основных характеристик дискурсивного слова считаются «отсутствие какого-либо денотата в общепринятом смысле и установление отношений между двумя и более составляющими дискурса» [2. С. 8].

С точки зрения классической грамматики такие свойства в дискурсе могут приобретать различные части речи: частицы, наречия, союзы и союзные слова, а также грамматические формы знаменательных слов, устойчивые сочетания и т. д. Погруженные в процесс непосредственного порождения речи, эти языковые элементы подвергаются лексикализации, грамматикализации, десемантизации и др. преобразованиям, приобретая функции служебных слов с различными модальными значениями. Дискурсивные слова являются открытой категорией, поскольку как явление устной речи перманентно формируются в неформальном общении, не поддающиеся какой бы то ни было кодификации.

В формировании класса дискурсивных слов важную роль играют местоимения (в основном, указательные, вопросительные и неопределенные), которые благодаря своей лексико-семантической и грамматической «экстерриториальности» больше других слов пригодны для моделирования, модификации и манифестации модальных значений. Будучи специальными инструментами языкового дейксиса, местоимения получают дополнительные возможности реализации в дискурсе: функции замещения и указания, характерные для дейктических слов, позволяют оперативно использовать их в качестве экспрессивных средств референциальной актуализации речи. Непосредственно привязанные к конкретному моменту речи, они в каждой реализации имеют единственное значение, что позволяет формировать смысл высказывания «здесь и сейчас» [Подробнее см.: 3].

Наиболее частой функцией местоимений в дискурсе является замещение лексически однозначных слов в случае речевых затруднений, связанных с поиском нужных средств для перестройки высказывания и продолжения коммуникации. Чтобы обеспечить временный перерыв и перестроиться на новый коммуникативный отрезок, говорящий временно подставляет на место не найденного слова его заместитель — лексический маркер *hesitation* (англ. *hesitation* колебание), для которого В.И. Подлесская предлагает использовать термин «препаративная подстановка» или «препаративная замена» (англ. *placeholder*). Эти же средства используются для так называемых «приблизительных номинаций», когда говорящий отказывается от поиска полноценной номинативной единицы, предоставляя слушателю самостоятельно восстановить нужный фрагмент речи, исходя из ситуации говорения и ранее заданной структуры высказывания [4; 5].

В стандартном русском языке в качестве маркеров речевых затруднений обычно используется местоимение *это*, которое имеет широкие дискурсивные возможности [6], может быть согласованным и несогласованным, например:

мне сегодня ...это... сон приснился...; я ее через... эту...как ее... сеть на-
шел...; ты не мог бы ...это самое... дать мне в долг и т.д.

Широко представлено оно и в диалектном дискурсе, например:

...одномче мы идем ...этот... с твоим дедушкой с покойничком². А после того больше не видала (медведя), а вс... всё в то место ходила, а как до то(г)о места дохожу, дак этот, волос-от повы... это, волос-то повыше плат-от. Подузда, шуки попадали, и это... этой... сорога ры... светленькая такая сорожка рыба [примеры 7. С. 4, 14, 15].

Дальнеуказательное местоимение то, которое в дискурсивной функции встречается, в основном, в форме родительного падежа того, используется реже, хотя нельзя полностью согласиться с замечанием В.И. Подлесской, что «функция препаративной подстановки местоимением того в современном русском языке полностью утрачена, а от функции приблизительной номинации остались некоторые реликты, ср. выражения вроде, ты что, совсем того?» [4. С. 205]. Благодаря ярко выраженной семантике неопределенности, незнания, в том числе незнания, как сказать и что сказать в данной ситуации, эта форма все же используется, хотя по сравнению с местоимением это, действительно, имеет более ограниченное употребление.

По-видимому, дискурсивное слово то, того больше характерно для диалектной речи. Неслучайно В.И. Даль дает форму родительного падежа *того, того* отдельной статьей и специально отмечает его дискурсивную функцию в русских диалектах. Он пишет, что это слово «приговаривается без большого смысла, иногда вместо *бишь*, припоминая что, вместо *однако*, *но*, или намека на что...

Местоимение *то, того* и его дериваты, выступающие в дискурсе как междометия хезитации, в большом количестве зарегистрированы в севернорусских диалектах, особенно в группе северо-восточных говоров. Так, в «Словаре русских народных говоров» зафиксировано несколько десятков словообразовательных модификаций от основы того с пометой «присловие, когда говорящий затрудняется найти нужное слово» или «употребляется при запамывании чего-л., для подыскивания нужного слова», «при желании уточнить ч.л.» и др., что однозначно свидетельствует об их использовании как маркеров речевого затруднения. Среди них в севернорусских говорах можно выделить следующие модели:

- (1) *тогó* + указательная частица *вон* + (-и, -ко, -ди, -ды, -де, -ть): *товó-вон-й, товó-вон-ко, товó-вон-ды, товó-вон-де, товó-вон-ди, товó-вон-де-ка, товó-вон-де-кать*, например: *Ехать так «завсяко просто» со свадьбой как будто не товогонди, неловко, неудобно.*
- (2) *тогó* + указательная частица *воно* + (-ди, -ка, -ко, -д-ко): *тогó-воно, тово-воно, тово-воно-ди, тово-воно-ка, тово-воно-д-ко*, например: *Ты вот чего... тововоно, поладь-ка ему как-нибудь эдак. Я, тововонока, побачерничал сегодня у соседа.*
- (3) *тогó* + частица *но* + (-ка, т-ка): *тово-но, тово-но-ка, тово-но-ди, тово-но-т-ка*, например: *Я, баешь, тебя товоно... как, баετε, он сказал? Купила себе платок, цвет-от как-от мудреный, торговый звал его, товонока, как уж? Вот она и того, значит, товоноди, и сказала ему. Товонотка, как зовут невестуто у нас?*
- (4) модели, возникшие, по-видимому, в результате редукции вышеприведенных: *товó-н-ко, тово-т-ко, тово-н-ди.*

² Здесь и далее примеры приводятся в транскрипции (написании) источников.

- (5) *тогó* + частица *-се* + (*-ка*, *-т-ко*, *-тки*): *тогó-се*, *товó-се*, *тóвó-се-т-ко*, *товó-си-т-ки*, например: *товосетко — вот это слово наше досельне*.
- (6) *тогó* + частица *-восе* + (*-ка*, *-тко*, *-тки*): *тогó-восе*, *товó-во-се*, *товó-во-се-т-ко*, *товó-во-се-н-т-ко*, *тово-вó-се-н-т-ко*, *тогó-вá-се-н-ко*, *тогó-вá-се-т-ко*, например: *Как его тоговасенко звали?* [9. С. 164—167].

Интересно отметить, что модели (1), (2), (3) и (4), образованные сочетанием основы *того* с частицами *вон*, *воно*, *но*, имеют, в основном, северо-восточную ориентацию (говоры вятско-пермской группы, отчасти вологодские), а модели (5) и (6), образованные сочетанием *того* с частицами *се*, *восе* — северо-западную (каргопольские, олонечкие, архангельские, мурманские и др.).³

Н^адо сказать, что состав дискурсивных слов как в письменном, так и устном дискурсе литературного языка так или иначе подвергается унификации, тогда как диалектная речь с имманентно присущей ей вариативностью дает большие возможности для спонтанного словотворчества, регламентируемого только иллокутивными потребностями участников коммуникативного акта. Говорящий, встречаясь с речевыми затруднениями, спонтанно модифицирует высказывание, которое естественным образом получает дополнительные оценочно-эмоциональные коннотации. В поисках средства быстрого исправления речевого сбоя он обращается к экспрессивно окрашенным модальным средствам языка, среди которых центральное место занимают частицы (в данном случае *-ка*, *-ко*, *-ки*, *-де*, *-ди*, *-ть* и др.). Образованные с их помощью дериваты могут выступать, по терминологии В.И. Подлесской, только в качестве несогласованных, дефолтных [4. С. 198] маркеров хезитации, поскольку лишь заполняют паузы речевых затруднений, не встраиваясь в морфосинтаксическую структуру высказывания в целом.

Функционально близкое использование в северо-восточных говорах имеет слово *натодель*, которое, по-видимому, непосредственно связано с конструкциями, вроде: *то дело*, *на то дело*, *то делать*. На всем пространстве русских диалектов эти конструкции подвергаются лексикализации и активно переходят в наречия (*тóдэль* «на самом деле», «часто», «иначе»; *тóдэльно* «правильно», «пригодно», «впору», «искусно») и прилагательные (*тодельный* «способный», «годный», «правильный»; *натодельный* «специально предназначенный», «искусно сделанный») и др. [8. Т. 2. С. 484; 9. С. 168; 10. С. 570 и др.].

В речи носителей русских говоров Припечорья слово *натодель* используется также в функции дискурсивного маркера хезитации, например: *ты натодель ф Городок ездила? Медведица з детьми покатила, натодель, пойдёш на мясо; Он был такой здоровящийся натодель крупнящийся* и др. [11. С. 43, 78, 164], и служит, в основном, для внутренней связки текста, заполнения речевых пауз с целью продолжения высказывания.

Кроме приведенных дискурсивных слов, выступающих в качестве несогласованных маркеров хезитации, в северо-восточных говорах от основ *то*, *того* образуются также прилагательные и глаголы, которые по определению согласуются с замещаемыми ими составляющими высказывания. Так, в говорах вятско-пермской группы зарегистрировано дискурсивное слово *тётвоно*, которое может выступать в форме **прилагательного** *тётвонный* «тот, такой»: *Не знаю, где-ка мне покос-от взять. На Сломках ежели, так не больно корыстна травкато. Каку ты там стриль накосишь? К тётвонному..., к Штанному надо податься* [9. С. 99]. В «Словаре русских говоров низовой Печоры» зафиксирован также отместоименный адъ-

³ Несколько иное строение имеют аналогичные дискурсивные слова, распространенные в других русских регионах, напр., оренб. *тёт-вона-ть*, урал. *товó-нь-ка-ть*, сиб. *товó-оно-кó*, *тóто-нь-кать*: урал. *вы или, и тонькать*, к нам не зашли; калуж. *тон-того: тон-того или что-нибудь сказать* и др. [10. С. 99, 166, 301].

ектив тогов «принадлежащий тому», который может выступать как в функции маркера препаративной замены, например, *это не егоф дом, не он тут жил, это тогоф, Арсения дом*, так и приблизительной номинации, например: *тогова-то одежда навешана* [12. С. 351].

Особый интерес представляют дискурсивные глаголы, бытующие в речи русских, компактно проживающих на территории Пермского края и Республики Коми. Так, в «Словаре русских говоров Коми-Пермяцкого округа» отмечено дискурсивное слово *товно*, используемое в качестве лексического маркера хезитации для заполнения паузы при выборе средства вербализации высказывания (например: *овечек утром кормлю, пою, а вечером-то, товно, иной раз и кормлю вроде, иной раз нет*), от которого образован глагол *товнать* «делать, заниматься чем-либо»: *Варя, вставай, пойдем кулигу товнать. Надо убрать уж ее*.

От конструкции *то делать*, возможно, образованы глаголы *утодить*, *утодилить* с широким значением «разместить, поместить»: *сено надо где-то утодить, на сарае место мало; в ящике надо утодилить барахло-то*, которые также могут выступать в функции препаративной подстановки, например: *баба перво-то терпела, а потом все, утодила, в тюрьму посадила* [13. С. 238, 249]. По-видимому, этот глагол *утодить* был «занесен» в пермские говоры переселенцами из Архангельской области, где он зафиксирован как семантически полноценное слово с широким значением в формах *тоделить* «заниматься, делать что-л.» [9. С. 168] и *дотоделить* «докончить, доработать»: *крёсна-то (= полотно) я уж дотоделила; затогоделовать* «заделать, забить ч.-л. наглухо» [14. С. 123, 166].

Приводя примеры различных типов глагольных маркеров препаративной подстановки в языках мира, В.И. Подлесская отмечает отсутствие таковых в русском языке. При этом она пишет: «Интересным образом, в русском языке, где ... в принципе невозможна согласованная препаративная постанова на место глагольной группы, допускается, тем не менее, сочетание местоименного заместителя с препозитивной отрицательной частицей (например: *ты давай не это... не выпендривайся*) и даже присоединение к местоименному заместителю деривационных глагольных префиксов (например: *и он приэто... не привязан, а прибит гвоздями*)» [4. С. 196].

Однако сама возможность замены предикатной части высказывания дискурсивным именным элементом, по-видимому, так или иначе «провоцирует» появление в спонтанной речи временных глагольных форм, согласованных с запланированной в начале высказывания глагольной группой, т. е. оформленных грамматически глагольными показателями. Так, А.Г. Похолкова пишет, что в русском языке происходит становление местоименного глагола на основе местоимения *это*, которое в синтаксической роли глагола может использовать глагольные префиксы (*поэто, заэто* и др.) и образовывать префиксально-суффиксальные формы (*перезтовать, раззтоваться* др.); «реальность существования последних подтверждена экспериментально» [6].

Аналогичным образом в спонтанной речи ведет себя местоимение *того*. Оно может употребляться в функции препаративной подстановки для заполнения хезитационной паузы, связанной с поиском нужного глагола, например: *вы... того... не очень-то важничайте; мне вообще-то эта история ... не того... не очень нравится* и т.д. Однако достаточно часто встречается и как непосредственный заместитель полноценного глагола (или неглагольного предикатива), когда сама речевая ситуация позволяет использовать самые общие «указатели» или «знаки», в том числе невербальный дейксис, поскольку участникам коммуникативного события хорошо известен предмет разговора, например: *Я было и того, ну так вишь жена не того — ну уж и я растово; коли ты того, так и я того, а коли ты*

не тово, так и я не тово [8. Т. 4. С. 409] или ты уже растого печку? (растопил, разбросал в ней угли и др.) [15. С. 218].

Неудивительно, что в диалектной речи это местоимение может выступать производящей основой дискурсивных глаголов — вре́менных глагольных форм, используемых в различных случаях речевых затруднений. Большое количество подобных образований зафиксировано в говорах Усть-Цилемского района Республики Коми, где достаточно компактно проживает русское старожильческое население, сохраняя как культурные, так и языковые особенности. В формировании этого островного переселенческого говора приняли участие новгородские, архангельские, вологодские и вятские русские говоры, а длительное, достаточно изолированное проживание его носителей — старообрядцев определило появление ряда местных инноваций, к которым, по-видимому, следует отнести и достаточно широкое использование **местоглаголий** — дериватов местоимений *того* и *тогов* «принадлежащий тому» [Подробнее см.: 16, 17]. В условиях спонтанного речепорождения эти глагольные образования полностью встраиваются в структуру высказывания как полноценные глаголы.

Наиболее последовательно в говорах низовой Печоры представлен глагол *тогóвотать* «делать что-либо, о любом действии, конкретизирующемся в речевой ситуации», от которого с помощью префиксов образуются формы с различными коннотативными значениями, вроде: *обтогóвотать*, *растогóвотать*, *перетогóвотать*, *протогóвотать*, *стогóвотать* и др. Зафиксированы также другие формы, образованные с помощью разных деривационных суффиксов, а также глагола *делать*, который в данном случае также имеет функцию деривационного суффикса, транспонирующего местоимение в глагол, например: (*тогóтать*): *виска* (= речка) *была рыбна, топерь дома фсё натогóтали, наделали*; (*тоготовать*): *иш, паря, как вы там фсе растогóтовались, фсё выписываете посылторгом*; (*тогóдить*): *пеструху растогóдила* (здесь: *зарезала*), *вот суп варице*; (*тогóдеть*): *перетогóдели, перемерзли ноги, стали болеть*; (*тогóделать*): *надо рукавицу сперва растогóделать, а потом надвязать* и др.⁴

Приведенные деривационные модели обладают высокой потенциальной продуктивностью, однако образуются они по дефектным парадигмам, во всяком случае, ни в опубликованных источниках, ни из устного опроса носителей говора нам не удалось обнаружить основных (беспрефиксных) форм, а только суффиксально-префиксальные. По-видимому, при их образовании происходит своеобразная инкорпорация местоименной основы в глагольную.

В некоторых случаях такие заместители глагола выступают в функции маркеров препаративной подстановки, заполняют хезитационную паузу, предшествую полноценному предикату, например: *фсю я одежду перетогóделала, перемешала*; *козы, свиньи перетогóвóтили, перераишивали*; *стогóвотают иэрьс, выскоблют, выделяют кожу*. Однако эта функция, по нашему мнению, здесь не главная. В ситуации он-лайн коммуникации, когда предмет высказывания достаточно хорошо известен участникам коммуникативного акта, эти глаголы выступают скорее для «связи слов», нежели заполнения паузы при затруднении, вызванном поиском подходящего слова. Как правило, лексически полнозначный глагол, на месте которого выступает его «пустой» заместитель, относится к наиболее употребительной лексике активного словаря. Поиск лексически полноценного глагола не создает особых затруднений, что хорошо осознается и самими говорящими, напр.: *Ницё не подошло к языку моёму, надо бы сказать: отделить, а я — оттогодеть надо рыбы*.

В корпусе имеющихся у нас примеров наиболее частой является функция приблизительной номинации, когда сама речевая ситуация позволяет наполнить «пустую форму»

⁴ Эти и последующие примеры извлечены из СРГНП [12].

местоглаголия конкретной информацией без привлечения дополнительных вербальных средств, например: *фсе эти растогóдела, куда я дела* (здесь: рассовала, небрежно разложила); *Галя, не натогадей ему в глаза-те* (здесь: не брызгай); *верёфку-то олень оптогадел фсю* (здесь: размотал, растрепал); *Марфа, ты што няфкаш, растогóтовалась?* (здесь: расхныкалась, расплакалась); *лопотей-то надо в большой яшишк перетогóтить* (здесь: переложить); *цё растогвалась тут, подь, подь* (раскудахталась, о курице); *я сённи ягот натогадивала* (насобирала); *не растогóдивай тут* (не разбрасывай); *ну-ка, растогóдивай, цё там прислали* (здесь: вскрывай посылку); *сена-то уш натогадовали мы; натогадовали потолоку-то; ты уш грибоф натогадовала? мне надо вот натогадовать: квашню замесить да, телён-ка напоить да; ну фсё бельё растогватала, я сложила, а ты растогватала* (разбросала, раскидала); *вон их растогвотал, этот плацет* (здесь: раздражил, обидел); *я опять эти скаски не тогадовала* (не знала, не помнила); *бат, молотка тебе растогóдила, как деревня называецце* (сказала) и др.

Во многих случаях такие «временно созданные» глаголы даже нельзя назвать собственно заместителями; они выступают как самостоятельное средство предикации. Благодаря тому, что их использование напрямую связано с конкретным коммуникативным случаем, а целевые установки его участников очевидны, необходимость в дополнительных средствах вербализации полностью отпадает и единственным носителем информации становится спонтанно созданная «пустая» форма, грамматически оформленная как полноценный глагольный предикат, сохраняющий позицию глагола в структуре высказывания.

В этих условиях согласованные маркеры гезитации, т. е. встроенные в морфосинтаксическую структуру высказывания, могут приближаться по значению к дискурсивным словам «дефолтного» типа. Высокая частотность их использования в речи локальной группы носителей позволяет прогнозировать дальнейшую «прагматизацию» этой категории, формирования специального средства выражения экспрессии устного дискурса. Об этом, в частности, могут свидетельствовать некоторые примеры междометного использования местоглаголий, в которых временно созданный глагол не несет функций замены лексически полноценного слова, заполнения паузы или приблизительной номинации. Оставаясь в структуре предикативного центра, местоглаголие выступает в роли междометия как средства актуализации высказывания, дополнительного аргумента в подтверждение высказанной мысли, например: *хотела перину послать, уехала, ницего не послала, не стогóдела; шпану поставили караулить хлеп, а они украли, оттогадовали; там-то веть ешиш не опкошено, не оптогадовано; назём на поле возят, разбросам, растогвотам* или в плеонастических сочетаниях, вроде: *растрепаетца да растогвотаетца, дак как хухра*.

Заключение

Семантическое наполнение, функции и само существование местоглаголий непосредственно детерминированы референцией речи к конкретным условиям коммуникативного события. Специально созданные как инструмент формирования дискурса, эти образования, как правило, не достигают системы языка, не реализуются облигаторно в стандартном словаре, оставаясь фактом говорения, ярко маркирующим локальные диалектные особенности.

Это в равной степени относится ко всем производным местоимения *то, того*, на примере которых хорошо видно, как в условиях спонтанного речепорождения появляются элементы, которые могут впоследствии структурироваться в дейктическую систему языка, но могут и остаться на уровне «говорения» как факты данного речевого случая с участием данного языкового коллектива. В диалектном дискурсе коммуникация, как правило, преобладает над номинацией, поэтому многие языковые единицы приобретают специфические значения и

функции, соответственно проявляется экспрессивное формо- и словообразование, которое и определяет колорит и своеобразие данного локального языкового варианта в рамках стандартного национального языка.

Литература

1. Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. — М., 1993.
2. Дискурсивные слова русского языка: опыт контекстно-семантического описания // Под ред. К. Киселевой и Д. Пайра. — М., 1998.
3. Федюнева Г.В. О типологии местоименного значения // Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А.С. Пушкина. Серия «Филология». — 2008. — № 4 (16). — С. 172—179.
4. Подлесская В.И. О грамматикализации и «прагматизации» маркеров речевого затруднения: феномен preparativnoy podstanovki // Третья конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей. — СПб., 2006. — С. 189—210.
5. Podlesskaya V. Parameters for Typological Variation of Placeholders / 10th International Pragmatics Conference. 2007.
6. Похолкова А.Г. Когнитивная семантика указательного местоимения это: автореф. дис. ... к. филол. н. — Иркутск, 2003.
7. Мошкина Е.Н. Вятские говоры. Звучащая хрестоматия. Бюллетень Фонетического Фонда русского языка. — Вятка—Бохум, 1999.
8. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. — М., 1982.
9. СРНГ — Словарь русских народных говоров / Отв. ред. С.А. Мызников. Вып. 44. — СПб., 2011.
10. Аникин А.Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири: Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. — Новосибирск, 1997.
11. Дронова Т.И. Фольклор Усть-Цильмы: пословицы, поговорки, присловья. — Сыктывкар, 2008.
12. СРНГП — Словарь русских говоров низовой Печоры / Отв. ред. Л.А. Ивашко. — СПб. Т. I., 2003. Т. II., 2005.
13. СРГКПО — Словарь русских говоров Коми-Пермяцкого округа / Сост. Н.Ю. Копытов, И.А. Подюков, А.В. Черных. — Пермь, 2006.
14. Подвысоцкий А.О. Словарь архангельского областного наречия в его бытовом и этнографическом применении. — М., 2009.
15. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. — М., 1975.
16. Федюнева Г.В. О статусе местоимения в языке // Вопросы языкознания. — 2011. — № 2. — С. 89—97.
17. Федюнева Г.В. Местоимения в северо-восточных русских говорах // Известия РАН. — 2011. — № 1. — С. 58—62.

References

1. Baranov A.N., Plungyan V.A., Rakhilina E.V. Putevoditel' po diskursivnym slovam russkogo yazyka. — M., 1993.
2. Diskursivnye slova russkogo yazyka: opyt kontekstno-semanticheskogo opisaniya // Pod red. K. Kiselevoy i D. Pajra. — M., 1998.
3. Fedyuneva G.V. O tipologii mestoimennogo znacheniya // Vestnik Leningradskogo gos. un-ta im. A.S. Pushkina. Seriya filologiya. — 2008. — № 4 (16). — S. 172—179.
4. Podlesskaya V.I. O grammatikalizatsii i «pragmatizatsii» markerov rechevogo zatrudneniya: fenomen preparativnoy podstanovki // Tre'tya konferentsiya po tipologii i grammatike dlya molodykh issledovatelej. — SPb., 2006. — S. 189—210.
5. Podlesskaya V. Parameters for Typological Variation of Placeholders / 10th International Pragmatics Conference. 2007.
6. Pokholkova A.G. Kognitivnaya semantika ukazatel'nogo mestoimeniya esto: Avtoref. dis. ... k. filol. n. — Irkutsk, 2003.
7. Moshkina E.N. Vyatskie govory. Zvuchashhaya khrestomatiya. Byulleten' Foneticheskogo Fonda russkogo yazyka. — Vyatka—Bokhum, 1999.
8. Dal' V.I. Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka. T. I—IV. — M., 1982.
9. SRNG — Slovar' russkikh narodnykh govorov / Otв. red. S.A. Myznikov. Vyp. 44. — SPb., 2011.
10. Anikin A.E. Ehtimologicheskij slovar' russkikh dialektov Sibiri: Zaimstvovaniya iz ural'skikh, altajskikh i paleoaziatskikh yazykov. — Novosibirsk, 1997.
11. Dronova T.I. Fol'klor Ust' Tsil'my: poslovitsy, pogovorki, prislov'ya. — Syktyvkar, 2008.
12. SRGNP — Slovar' russkikh govorov nizovoy Pechory / Otв. red. L.A. Ivashko. — SPb., T. I., 2003. T. II., 2005.
13. SRGKPO — Slovar' russkikh govorov Komi-Permyatskogo okruga/ Sost. N.Yu. Kopytov, I.A. Poddyukov, A.V. Chernykh. — Perm', 2006.
14. Podvysotskij A.O. Slovar' arkhangel'skogo oblastnogo narechiya v ego bytovom i ehtnograficheskom primenenii. — M., 2009.
15. Maslov Yu.S. Vvedenie v yazykoznanie. — M., 1975.
16. Fedyuneva G.V. O statuse mestoglagoliya v yazyke // Voprosy yazykoznanija. — 2011. — № 2. — S. 89—97.
17. Fedyuneva G.V. Mestoglagolie v severo-vostochnykh russkikh govorakh // Izvestiya RAN. — 2011. — № 1. — S. 58—62.

**Федюнева Галина Валерьяновна,**

доктор филологических наук, доцент

главный научный сотрудник

Институт языка, литературы и истории Коми научного центра

Уральского отделения Российской академии наук (ИЯЛИ Коми НЦ

УрО РАН)

Fedyuneva Galina V.

Doctor of Philology, Principal Researcher

Russian Academy of Sciences

Ural Division

Komi Science Centre

Institute of Language, Literature and History

E-mail: gfedyuneva@mail.ru

А.А. Бувич

Библейские имена собственные во фразеологизмах русского и испанского языков

В статье подвергается анализу явление символизации имен собственных библейского происхождения, функционирующих в составе фразеологических единиц русского и испанского языков, описываются национально маркированные коннотации фразем, в состав которых входят компоненты-онимы.

Ключевые слова: теолингвистика, религия, язык, библейские имена собственные, русские и испанские фразеологические единицы.

The article deals with the phenomenon of biblical proper names' symbolism and their function as a part of Russian and Spanish phraseological units, it describes the national idiomatic connotations with the onim-components.

Keywords: theolinguistics, religion, language, biblical proper names, Russian and Spanish phraseological units.

Одним из важных направлений современной лингвистики является исследование взаимоотношений языка и религии, в русле которого формируется новый раздел языкознания — теолингвистика (от *греч.* *theos* — Бог и *лат.* *Lingua* — язык) — дисциплина, возникшая на стыке языка и религии и исследующая проявления религии, которые закрепились и отразились в языке [1. С. 166]. Развитию и становлению теолингвистики как раздела языкознания посвящены работы А.К. Гадамского (Украина), К. Кончаревич (Сербия), Е. Кухарской-Дрейсс (Польша), В.И. Постоваловой (Россия) и других ученых.

Современные исследователи занимаются изучением различных сторон религиозной сферы: анализируется семантика и функционирование отдельных лексем и целых лексико-тематических групп слов, изучается библейская фразеология, выявляется национально-культурная специфика конкретных религиозных концептов (С.В. Булавина, А.Л. Голованевский, Р.И. Горюшина, Л.М. Грановская, Ю.Т. Листрова-Правда, Т.Ф. Сапронова и др.).

На сегодняшний день в современной русской теолингвистике сложилось два варианта построения этой дисциплины: универсальный, христианский, разрабатываемый украинскими, польскими и русскими лингвистами, и православно-христианский, присущий «Московской школе» теолингвистики, представленной в работах В.И. Постоваловой.

Поскольку целью данного исследования является изучение особенностей некоторых библейских имен собственных, входящих в состав русских и испанских фразеологизмов, идиом и паремий, особенно значимой для нашей работы оказывается опыт рассмотрения Имени / Слова в теоантропокосмической парадигме, представленной «Московской школой» теолингвистики. Именно в теоантропокосмической парадигме язык исследуется в максимально широком контексте (Бог-космос-человек), что позволяет трактовать его как средство раскрытия бытия.

В рамках данной парадигмы сферы языка и религии понимаются как единое начало целостного духовного мира человека. Такой подход обусловлен глубинным видением природы

лингвистического феномена, возникшего на основе библейского понимания Имени и оформившегося в православной традиции имяславия, в которой утверждался богословский тезис о том, что Имя Божие есть Сам Бог. В лингвофилософском варианте эта идея воплотилась в концепции языка школы Всеединства, разрабатываемой в трудах С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева, П.А. Флоренского. Основополагающая идея большинства работ этих религиозных философов сводится к формуле «мир как имя» и «мир как слово», то есть мир в видении этих мыслителей предстает как иерархия «космических слов», увенчанных Божественным Логосом. Основывая свой анализ на имени Бога, философы-имяславцы утверждали, что это имя предшествует любому именованию, а человеческие имена заключают в себе проявление Божественной энергии.

Во многом философия имени С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского и А.Ф. Лосева — это обширный философский комментарий к словам Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» [2. Ин. 1—4]. По заключению А.Ф. Лосева, имя привязано к вещи мощными силами, оно — дано, а не выдуманно. «Имя — как максимальное напряжение осмысленного бытия вообще — есть также и основание, сила, цель, творчество и подвиг также и всей жизни, не только философии. Без имени — было бы бессмысленное и безумное столкновение глухонемых масс в бездне абсолютной тьмы... Имя победило мир» [3. С. 746].

Для П.А. Флоренского «Имя — тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность» [4. С. 26]. Это также символ, соединяющий два мира: бессловесный, незримый мир, который кроется в подсознательных глубинах нашего личного сознания, и бессмысленный мир, который находится за пределами нашей личности. Имя создает третий, новый мир — мир исполненных смысла звуковых символов, посредством которого освещаются тайны положенного бытия, равно как и проясняются тайны нашего собственного, личного духа.

Имена знаменательны исторически и биографически: с именем восстанавливается историческая личность, а при его утрате или потере происходит обезличивание личности, духовная, гражданская или историческая смерть. В соответствии с этим представлением особый интерес для лингвистов составляет изучение библейских имен собственных, воплощающих в себе символы определенных качеств человека или ссылки на происходившие события. Так, *Иуда* — символ предательства, *Авель* — невинная жертва, *Фома* — недоверчивый, упрямый человек и др.

Самым первым библейским персонажем является прародитель человеческого рода, первый человек, сотворенный Богом из праха земного — **Адам**. В русской картине мира в образах Адама и особенно Евы акцентируется понятие греха. Сравним пословицы, приводимые В.И. Далем:

Адам плотию наделил, Ева — грехом; Адам согрешил, а мы воздыхаем; Ева Адама прельстила, весь род потопила (или: погубила); Ева прельстила деревом, простонала чревом; Адам грех сотворил — рай затворил [5. С. 171—172].

В русском языке выражения как *Адам*, в одежде Адама обычно соотносятся с прилагательными *голый*, *нагой*, что восходит к библейским сказаниям об Адаме и Еве, которые, живя в раю, были наги и не стыдились своей обнаженности, пока, соблазненные змеем-искусителем, не отведали запретный плод с дерева познания добра и зла. В испанском языке данное семантическое значение передается идиомой *en traje de Adán* — «нагишом, в чем мать роди-

ла, в костюме Адама» [6. С. 675]. Кроме того, в испанском языке существует сравнительная конструкция, основанная на переосмыслении данной библейской легенды: *hecho un adán* — «неряха, неопрятный; оборванец; совсем опустился» [6. С. 17]. Как видно из приведенных переводов, переосмысление первочеловека и его наготы в испанской лингвокультуре произошло совсем по-другому. Нагота стала восприниматься не как открытость и начало всего, а как неорганизованность, неряшливость. В испанской языковой картине мира производное от *Adán* — *adamismo* используется во фразеологизмах типа *obrar con adamismo*, что означает «делать что-то не так, как будто до тебя этого никто не делал (изобретать велосипед)» [7. С. 85].

Среди фразеологизмов с именем *Адам*, общих для русского и испанского языков, можно выделить следующие: *ребро Адама* / *costilla de Adán* (т.е. женщина), *Адамово яблоко* / *manzana de Adán* (т.е. верхняя часть кадыка, символизирующая запретный плод, который застрял у Адама в горле), *ветхий Адам* / *viejo Adán* (означает: 1) людское стремление к греху; 2) грешный человек; 3) человек вообще, т.е. причастность к первородному греху; 4) человек старых взглядов и привычек).

К русским безэквивалентным фразеологизмам, содержащим имя-символ *Адам*, относятся: *Адамова голова* («изображение черепа с двумя лежащими под ним крест-накрест костями» как символ ада, смерти); *Адамовы веки* (т.е. давно, много лет назад); *Адамовы дети* (здесь отражается притча о сотворении мира и людей). Стоит также отметить, что в русском языке *Адам* и *Ева* воспринимаются как неразрывная пара и их имена чаще всего употребляются вместе.

Имя библейского персонажа **Каина** в русском языке представлено во фразеологизме *трясетя, что Каин, что осиновый лист* («очень сильно дрожит от страха»), что отражает не собственно библейские, а народные представления о Каине как о трусе [5. С. 253]. В испанском языке фигурирует такая фразеологическая единица, как *pasar las de Caín* — ‘pasarlo tuu mal’ (букв. испытывать то, что Каин — ‘пройти через тяжелые испытания’), которая основана на том, что после убийства брата Каин, выгнанный отцом из дома, очень страдал и морально и физически. Хотя можно также встретить и компаратив *ser más malo que Caín* (букв. быть хуже Каина), который подчеркивает не его страдания, а порочную натуру, то, что привело к этому ужасающему поступку [6. С. 111—112].

Общим фразеологизмом с именем *Каин* / *Caín* для русского и испанского языков является: *Каинова печать* / *marca de Caín* (внешние признаки преступности на ком-либо — прокляв Каина, в наказание за убийство Авеля, Бог отметил его лицо особым знаком). Под «каиновой печатью» стали понимать некое клеймо, подобное тем, которые выжигали на лбу у осужденных преступников. Но Библия говорит совсем о другом. Знамение, данное Богом Каину, было вовсе не наказанием, а свидетельством того, что он, несмотря на совершенное им преступление, находится под защитой Господа. Более того, Бог нанес на него это знамение по просьбе самого Каина. Открыв счет человеческим смертям, он очень боялся, что в изгнании его самого могут убить. «И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» [2. Быт. 4:15]. Жизнь Каина была пощажена для того, чтобы дать ему время на покаяние и внушить, что право карать смертью убийцу принадлежит, прежде всего, Богу, а потом людям. В жизни Каина это наказание было более тяжким, чем быстрая насильственная смерть, поэтому «каинова печать» — знак не гнева, а милосердия Божия, с которым Он относится ко всем людям без исключения.

Имя **Мафусаила**, персонажа ветхозаветных преданий, прожившего 969 лет, закреплено в параллели (*es tan viejo como* (или *más viejo que*) *Matusalén* — «1) стар как Мафусаил; 2) старо как мир» [6. С. 398]. В русском языке укоренились выражения *Мафусаилов век жить*; *мафусаиловы лета* (или *года*) *жить* [8. С. 144]. Впервые в русской литературе фраза

Мафусаилов век была употреблена в документе «Духовный регламент» (1721) писателем-просветителем и сподвижником Петра I епископом Феофаном Прокоповичем (1681—1736):

«Прямым учением просвещенный человек никогда сытости не имеет в познании своем, но не перестанет никогда же учиться, хотя бы он и Мафусаилов век пережил» [9].

В обеих лингвокультурах имя царя **Соломона** формирует символ, который называет человека мудрого, например, в составе фразеологических единиц: *Соломонова мудрость / sabio como un Salomón*; *Соломоново решение / el juicio de Salomón*.

Страдания и терпение святого **Иова** отразились в ряде библеизмов как в испанском, так и в русском языках. Согласно библейской истории, Иов был богатым и благочестивым человеком. Однажды Сатана завел спор с Богом о том, что если лишить Иова всего, что он имеет, то он потеряет веру в Бога. Чтобы показать Сатане его заблуждения, Бог отнимает у Иова семью, богатство, здоровье. Однако вера Иова осталась непоколебимой. В награду за верность Бог одарил Иова вдвойне (Кн. Иова). Так, с именем святого **Иова** в испанском языке связано представление о неограниченном терпении: *más paciente que Job* — «много-страдальный, долготерпеливый (как Иов)» [6. С. 342]. В русском языке актуализированы другие черты этого образа: фразеологизмы с компонентом Иов в русском языке говорят о бедности: *беден, как Иов*.

Интерес представляет библейское имя-символ **Самсон**, в обеих лингвокультурах ассоциирующееся с мужской силой. В Большом словаре русских поговорок под редакцией проф. В.М. Мокиенко представлены следующие фразеологические единицы с этим именем: *Железный Самсон (шутл.-одобр. «о человеке атлетического телосложения»)* и *Самсон и Далила («олицетворение мужской силы и женских чар»)* [10. С. 593]. В испанском фразеологизме *aquí morirá Sansón con todos los filisteos* (букв. «здесь умрет Самсон со всеми филистимлянами») запечатлен библейский эпизод, когда Самсон ценой своей жизни отомстил врагам еврейского народа, филистимлянам, обрушив дом, где пировало несколько тысяч человек. Данный фразеологизм употребляется в ситуации, обозначающей решительный момент, когда назад пути нет и надо идти на все.

Ветхозаветный рассказ о халдейском царе **Валтасаре** нашел разное отражение во фразеологии русского и испанского языков. Во время пышного пира у царя Валтасара вдруг появилась таинственная рука, которая написала на стене непонятные слова. Пророк Даниил объяснил, что вскоре царь Валтасар погибнет, и в ту же ночь царь был убит, а его царством овладел Дарий Мидийский. На базе этого сюжета в русском и испанском языках возник фразеологизм *валтасаров пир / el festín (banquete) de Baltasar*, однако семантически они расходятся. Значение русского фразеологизма — «пир, веселье накануне неминуемой беды», а значение испанского библеизма — «обильное угощение, пиршество» [6. С. 271].

Новозаветные имена-символы также широко представлены в целом ряде русских и испанских фразеологизмов. Имя одного из библейских апостолов — **Иуды** отражено в таких библеизмах, как *beso de Judas* — «поцелуй Иуды, притворное дружелюбие, тайное предательство» [6. С. 72]. Во фразеологических словарях русского языка также присутствует такой же фразеологизм *Иудин поцелуй* — «предательский поступок, лицемерно прикрываемый проявлением любви и дружбы» [8. С. 101]. Как в русском, так и в испанском языках это имя используется в основном для выражения понятия «лживого человека»: *falso como (или más falso que) Judas* [6. С. 343]. Еще один испанский фразеологизм, содержащий имя Иуды, это *pelo de Judas* (букв. «волосы Иуды»), что значит «рыжий», ведь по преданию Иуда Искариот был рыжеволосым [Там же. С. 508]. Этот фразеологизм имеет отрицательную коннотацию и употребляется

в значении «не такой, как все, изгой». Подобный смысл не нашел своего отражения в русских фразеологизмах. Кроме того, испанское языковое сознание выделяет еще один компонент в этом имени — «неряшливость в одежде»: *parecer uno un Judas; estar hecho un Judas* — «иметь неопрятный внешний вид; быть неряхой» [Там же. С. 343].

Центральный образ во всех христианских культурах — **Иисус Христос**. Рассмотрим, как он предстает в испанской и русской лингвокультурах. В испанско-русском фразеологическом словаре под редакцией Э.И. Левинтовой насчитывается более 40 фразеологических единиц с этим именем. Специфика испанской фразеологии, включающей имя Христа (*Cristo, Jesús*), в том, что в ней содержится много междометных образований: *¡Por los clavos de Cristo!*¹ — «ради всего святого, ради всех святых»; *¡voto a Cristo!* — «проклятье!»; *¡y Cristo con los penitentes (или con todos)!* — «ну и бог с ним!, с плеч долой — и ладно!, разделались — и слава богу!». Восклицания *¡Jesús!*, *¡Cristo!*, *¡Santo Cristo!*, *¡Jesús, Dios mío!* могут выражать широкую гамму чувств — от жалобы и удивления до испуга и облегчения. Кроме того, междометие *¡Jesús!* произносится, когда кто-то чихнул (соответствует русскому «Будь здоров!»). Кроме этого, *Cristo* имеет ряд других значений и фигурирует во многих фразеологических единицах, среди которых: *ni por un Cristo* — «ни в коем случае; ни за что; ни за какие деньги» (букв. ни для одного Христа), *sin cristo* — «быть без гроша» (букв. быть без Христа), *sacar el cristo* — «прибегнуть к последнему средству, к крайним мерам» (букв. достать Христа), *como a (un santo) Cristo un par de pistolas* — «совершенно не подходить, <...> как корове седло» (букв. как Христу пистолеты) [6. С. 163, 191].

В русском языке отражается душевное, трепетное отношение к Христу. Помимо слов *христианство* и *христианин* существует целый ряд слов, которые образованы от имени Иисуса Христа: *христарадничать* («просить милостыню ради Христа, ходить по миру»), *христов-человек* («милосердный, добрый»), *христовушка* («милый, сердечный, дорогой человек»), *христосики* (устар. «лапти нищего»), *христоборец* («противник христианской веры»), *христопродавец* («предатель»), *христомученик* («тот, кто страдает за Христа»), *христолобивый* («тот, кто ходит в церковь»), *христосоваться* («обмениваться троекратными поцелуями в знак поздравления с праздником Пасхи»), *христовское яйцо* («первое полученное на Пасху яйцо») и др.

Во фразеологическом словаре русского языка А.Н. Тихонова представлены следующие фразеологизмы с именем *Христос*: *Христа ради, Христом богом просить (молить)* — выражают усиленную просьбу, мольбу; *Вот тебе (те) Христос* — употребляется для уверения в чем-л., «близко по значению словам: правда, действительно»; *Христос с ним (ними)* — «предложение согласиться, не спорить с кем-либо»; *Христос с тобой* — для выражения удивления по поводу слов или поступка собеседника; *Как у Христа за пазухой* — «без всяких забот и хлопот» [8. С. 189, 314].

Кроме того, в русском языке есть пословицы и поговорки, в которых также упоминается имя Христа. Они отражают следующий опыт народа о:

- ♦ **вере и человеке**: *Кто без крестов, тот не Христов*;
- ♦ **богатстве и бедности**: *Благодаря Христа, борода не пуста*; *Бога хвалим, Христа величаем, богатого богатыню проклинаям*; *С беленькой котомкой — Христос по пути*; *Лучше попросить ради Христа, чем отнять из-за куста*;
- ♦ **добре и зле**: *Христос видит, кто кого обидит*;
- ♦ **терпении и смирении**: *Христос терпел и нам велел*;
- ♦ **слове**: *Глас народа Христа предал (распял)*.

¹ В письменном испанском языке ¡ оборотный восклицательный знак начинает восклицательные предложения на письме.

Как видим, фразеология от имени Христа в русском языке совсем иная, нежели в испанском. Многие библеизмы с именем *Христос* в испанском языке являются десакрализированными, т.е. потерявшими первоначальный священный смысл этого имени и употребляемые всуе. В русском языке данные фразеологизмы менее подвержены этой тенденции.

Рассмотренные выше фразеологические единицы в своем составе имеют общие для обоих языков имена собственные библейского происхождения. Особого внимания заслуживают испанские безэквивалентные фразеологические единицы с именами собственными.

Так, в испанском языке присутствуют идиомы с именем **Богородицы, Марии**: *no es cada día a Pascua ni Santa María* — «не всякий день праздник» [6. С. 232]; *¡abre, María, la puerta!* — «здравствуйте!, скажите на милость! (ироничное удивление)» [Там же. С. 393]; *buenas manos tiene (María Santísima) para sacar pollos!* — «куда как ловок!» [Там же. С. 388]. Имя *Мария / María* в испанском языке считается одним из самых распространенных в силу того, что оно используется очень часто как первое имя для девочки и как второе имя для обоих полов (*María Elena, Ana María, José María* и т.д.), для него даже есть специальное сокращение, которое используется при написании — *М^a*. Такая частотность его употребления могла стать причиной достаточно негативной метафоризации этого имени в испанской лингвокультуре.

В русском языке фразеологии, связанной с именем Богородицы, нет: оно табуировано в русской языковой картине мира. Как писал о. Сергей Булгаков, «человеческое именование и имяовоплощение существует по образу и подобию божественного боговоплощения и наименования... всякий человек есть воплощенное слово, осуществленное имя, ибо сам Господь есть воплощенное Имя и Слово», поэтому в православной традиции не было принято давать имена в память Богородицы [11]. Раньше имя Богородицы отличалось даже иным ударением — *Марія*, в то время как другие святые жены имели имя *Мáрия (Мáрья)*.

В словаре русских пословиц В.И. Даля встречается только несколько сочетаний с производным именем *Марья*, которые отношения к Богородице не имеют: *Марья Иродовна, приходи ко мне вчера* (заговор от лихорадки); *Иван был в Орде, а Марья вести рассказывает; Иван Марье не товарищ; Иван Марье обычный друг; Марья Васильевна да Василь Василич (коза с козлом); Марья-Марина — очи голубины; Не у всякого жена Марья — кому бог даст* [5].

В целом довольно часто библейские имена в испанском языке являются носителями иных коннотаций по сравнению с русским языком. Так, имя **Магдалины** в сознании русского человека, в первую очередь, связано с грехом и с раскаянием в грехе: *кающаяся Магдалина* (книжн. ирон.) — «о том, кто жалостливо кается в своих проступках» [10. С. 379]. Образ этого имени основан на евангельской истории о Марии Магдалине, которая была исцелена Иисусом, изгнавшим из нее бесов, и раскаялась в своей развратной жизни. У испанцев в значении этого слова на первом месте выступает коннотация «безутешность»: имя *Magdalena* входит в состав фразеологизированных выражений *estar hecho una Magdalena; llorar como una Magdalena* — «заливаться слезами, плакать в три ручья, убиваться» [6. С. 372], основанных на другой евангельской ситуации, когда Магдалина оплакивала Иисуса после снятия его с креста.

К безэквивалентным фразеологическим единицам в испанском языке можно отнести выражения, в состав которых входит имя **Сантьяго** (Святого Якова) — покровителя Испании. Долгое время день этого святого был самым значительным национальным праздником. Имя этого святого входит в военные призывы: *¡Santiago y cierra España!; ¡Santiago y a ellos!* — «вперед!, ура!, в атаку!, бей их!» [6. С. 614]. А фразеологизм *como Santiago y los moros* означает жить «в постоянной вражде, на ножах; как кошка с собакой» [Там же].

Имя святого **Мартина** входит в выражение *a cada puerco le llega (или le viene) su San Martín* (букв. к каждой свинье приходит святой Мартин) — «не все коту масленица, будет и великий

пост» [6. С. 561], т.е. всему приходит конец, виновник получит наказание; эта идиома объясняется тем, что именно на святого Мартина (11 ноября) забивают свиней.

Заключение

Необходимо еще раз отметить, что большинство рассмотренных фразеологизмов сформировалось на основе в большей или меньшей степени переосмысленных драматических библейских сюжетов, поэтому практически каждый персонаж, представленный во фразеологизме, несет на себе как прямую библейскую, так и опосредованную национально-культурную информацию. Представляя собой заимствования из одного источника, фразеологизмы с библейскими именами собственными обладают национально-культурной спецификой и самобытностью, поскольку в каждом языке они приобретают особые коннотативные смыслы, часто являющиеся отражением исторического, духовного и нравственного пути становления и развития определенного сообщества. Данные явления и представления, которые стоят за ними, не только культурно-национально детерминированы, но еще и сами определяют шкалу ценностных ориентаций в обществе. Они создают национальную картину мира, под которой мы понимаем «результат отражения объективного мира обыденным (языковым) сознанием конкретного языкового сообщества, **конкретного этноса**» [12. С. 112].

Таким образом, исследователю культуры следует учитывать, что он есть носитель некой этнической самобытности, которая вооружает и одновременно ограничивает его определенной системой категорий, только при помощи которых он может составить представление о своей, а также о чужой культуре, потому что каждый язык, сквозь призму которого его носитель вбирает в себя культуру и миропонимание, по-своему членит мир, т.е. имеет свой способ его концептуализации. Отсюда заключаем, что каждый язык имеет свою картину мира, и языковая личность организует содержание высказывания в соответствии с соответствующей картиной. В этом и проявляется специфически человеческое восприятие мира, зафиксированное в языке. Еще В. Гумбольдт писал, что каждый язык очерчивает вокруг своего народа круг, выйти за пределы которого можно лишь усвоив еще один язык. И концептуальная, и языковая картины мира отводят человеку определенное место во Вселенной и тем самым помогают ему ориентироваться в реальности, обе картины мира являются результатом духовно-практической деятельности людей.

Литература

1. Гадомский А.К. О лакунах в системе лингвистической науки: проблема взаимодействия языка и религии // Культура народов Причерноморья. — 2004. — Т. 1. — № 49. — С. 164—166.
2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — М.: РБО, 1997. — 1337 с.
3. Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос / Сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. — М.: Мысль, 1993. — 958 с.
4. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Часть 2. Имена. — М., 1993.
5. Даль В.И. Пословицы русского народа: сборник В.И. Даля. — М.: Рус. яз. — Медия, 2004. — 814 с.
6. Левинтова Э.И., Вольф Е.М., Мошкович Н.А., Будницкая И.А. / Под ред. Э.И. Левинтовой. Испанско-русский фразеологический словарь: 30 000 фразеологических единиц. — М.: Рус. яз., 1985. — 1080 с.

References

1. Gadomskij A.K. O lakunakh v sisteme lingvističeskoj nauki: problema vzaimodejstviya jazyka i religii // Kul'tura narodov Pričernomor'ja. — 2004. — T. 1. — № 49. — S. 164—166.
2. Biblija. Knigi Svyaschennogo Pisaniya Vetkhogo i Novogo Zaveta. — M.: RBO, 1997. — 1337 s.
3. Losev A.F. Bytie. Imya. Kosmos / Sost. i red. A.A. Takho-Godi. — M.: Mysl', 1993. — 958 s.
4. Florenskij P.A. U vodorazdelov mysli. Chast' 2. Imena. — M., 1993.
5. Dal', V.I. Poslovitsy russkogo naroda: sbornik V.I. Dalia. — M.: Rus. yaz. — Mediya, 2004. — 814 s.
6. Levintova E.I., Vol'f E.M., Moshkovich N.A., Budnitskaja I.A. Ispansko-russkij frazeologičeskij sl'ovar': 30 000 frazeologičeskikh edinit / Pod red. E.I. Levintovoj. — M.: Rus. yaz., 1985. — 1080 s.

7. Рылов Ю.А., Корнева В.В. [и др.] / Под ред. проф. Ю.А. Рылова. Системные и дискурсивные свойства испанских антропонимов. — Воронеж: ВГУ, 2010. — 390 с.

8. Тихонов А.Н. Фразеологический словарь русского языка / Сост. А.Н. Тихонов (рук. авт. кол.), А.Г. Ломонов, Л.А. Ломова. — 3-е изд., стереотип. — М.: Рус. яз. — Медиа, 2007. — 334 с.

9. Словарь крылатых слов и выражений. — [URL]: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1455/ / Мафусаилов. — Дата обращения: 28.03.2013.

10. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Большой словарь русских поговорок. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. — 784 с.

11. Булгаков С., протоиер. Собственное имя / протоиер. С. Булгаков. — [URL]: http://odinblago.ru/bulgakov_filosofia_imeni/5/. — Дата обращения: 28.03.2013.

12. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. — М.: ЧеРо, 2003. — 349 с.

7. Rylov Yu.A., Korneva V.V. [i dr.] / Pod red. prof. Yu.A. Rylova. Sistemnye i diskursivnye svojstva ispanских antroponimov. — Voronezh: VGU, 2010. — 390 s.

8. Tikhonov A.N. Frazelogicheskij slovar' russkogo yazyka / Sost. A.N. Tikhonov (ruk. avt. kol.), A.G. Lomonov, L.A. Lomova. — 3 e izd., stereotip. — M.: Rus. yaz. — Media, 2007. — 334 s.

9. Slovar' krylatykh slov i vyrazhenij. — [URL]: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/1455/ / Mafusailov. — Data obrascheniya: 28.03.2013.

10. Mokienko V.M., Nikitina T.G. Bol'shoj slovar' russkikh pogovorok. — M.: OLMA Media Grupp, 2007. — 784 s.

11. Bulgakov S., protoier. Sobstvennoe imya / protoier. S. Bulgakov. — [URL]: http://odinblago.ru/bulgakov_filosofia_imeni/5/. — Data obrascheniya: 28.03.2013.

12. Kornilov O.A. Yazykovye kartiny mira kak proizvodnye natsional'nykh mentalitetov. — M.: CheRo, 2003. — 349 s.



Бувевич Анна Александровна,

аспирант кафедры общего и русского языкознания,
Филологический факультет

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Беларусь

Buyevich Anna A.,

PhD student, Department of General and Russian Linguistics,
Philology Faculty

Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Belorussia

E-mail: annushka1981@tut.by





Е.А. Зачевский

«Боговдохновенная» муза национал-социализма

В статье рассматривается проблема взаимоотношения культуры и власти на примере творчества Агнес Мигель, крупнейшей поэтессы времен нацизма, в ее эволюции от консервативно-националистской ориентации к идеологии национал-социализма. Будучи откровенной колониалисткой, Мигель видела в Гитлере человека, способного продолжить деяния ордена крестоносцев по захвату земель на Востоке, и всячески способствовала пропаганде лозунга *Drang nach Osten*. Статья написана в контексте проводившегося исследования по истории немецкой литературы времен Третьего рейха по заданию ИМЛИ им. А.М. Горького РАН.

Ключевые слова: Агнес Мигель, национал-социализм, колонизация Восточной Пруссии, литература на службе политики.

*The article considers the relationship of culture and power analyzing the work of one of the most prominent women-poets of Nazism — Agnes Miguel, in her evolution from a conservative-nationalist orientation to the ideology of national socialism. Being a frank colonialist, Miguel saw Hitler as a man, capable of continuing the Teutonic order colonization of the lands in the East, and contributed to the propaganda of the slogan *Drang nach Osten*. The article is written in the context of the study of the history of German literature of the Third Reich on request of the Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences.*

Keywords: Agnes Miguel, national socialism, the colonization of the Eastern Prussia, literature at the service of politics.

Изучение истории литературы, какого бы она ни была свойства, предполагает открытие нового мира. В случае с исследованием истории немецкой литературы времен Третьего рейха (1933—1945), вроде бы, трудно было ожидать каких-либо открытий хотя бы потому, что в нашем восприятии этот отрезок истории, учитывая понесенные нашей страной огромные человеческие и материальные потери, представлялся изначально по определению лишенным чего-либо значимого в литературном смысле. То небольшое, что было представлено в 5-м томе «Истории немецкой литературы» в 1976 г., яркое тому свидетельство. Масла в огонь подлил в свое время и Томас Манн, заявив, «что книги, которые вообще могли быть напечатаны в Германии с 1933 по 1945 год, решительно ничего не стоят и лучше их не брать в руки. От них неотделим запах позора и крови, их следовало бы скопом пустить в макулатуру» [1. С. 185].

Тем не менее изучение этого мрачного периода истории немецкой культуры чрезвычайно актуально. Безотносительно того, что в немецкой литературе тех лет обнаружились произведения, не связанные с идеологией национал-социализма, заслуживающие к тому же самого пристального внимания по своему художественному уровню, настала пора внимательно изучить весь комплекс литературных явлений этого периода с тем, чтобы понять внутреннюю

логику диктаторского режима, его культурную и литературную составляющие, ибо нацистская идеология по сей день является весомым политическим фактором не только за рубежом, но и в нашей стране. Дело доходит до того, что некоторые российские историки консервативного толка, например, И.З. Бестужев, заявляют, что именно во времена нацизма немецкая литература достигла невероятного подъема, видя в этом заслугу «национального правления» [2], т.е. национал-социализма. Этой же мыслью, не без поддержки немецких землячеств, отмечены и попытки ряда молодых литературоведов и переводчиков представить, например, творчество Агнес Мигель, одной из фанатичных последовательниц идеологии национал-социализма и страстных поклонниц Гитлера, как «блистательную поэтессу», «чье имя — в ряду звезд европейской поэзии» [3. С. 5]. Стоит ли удивляться тому, что подобные мысли уже перекочевывают на страницы студенческих работ и выдаются за последнее слово науки.

В этой связи особый интерес представляет именно творчество Агнес Мигель (Miegel, Agnes, 1879—1964), яркий пример того, как тривиальная, якобы лишенная политических амбиций, областническая литература может обрести политическую значимость в пропагандистских надобностях нацистов. Об этом достаточно красноречиво говорит «послужной» лист писательницы:

- ♦ май 1933 г. — избрание Мигель в «почищенную» от евреев и левых элементов Академию поэзии;
- ♦ октябрь 1933 г. — Мигель ставит свою подпись под «клятвой верности и повиновения» фюреру;
- ♦ 1937 г. — Мигель становится членом женской национал-социалистской организации «Фрауэншафт»;
- ♦ 1938 г. — публикация сборника «Становление и труд», в котором, наряду со «знаменитым» стихотворением «К фюреру», высказывается «радостное и сердечное признание Третьего рейха»;
- ♦ март 1939 г. — рейхслайтер Мартин Борман, личный секретарь и ближайший соратник Гитлера, произносит в Кёнигсберге речь по случаю 60-летия писательницы;
- ♦ 1939 г. — Мигель награждается золотым значком почета «гитлерюгенд»;
- ♦ 1940 г. — Мигель получает премию имени Гёте;
- ♦ 1940 г. — Мигель становится членом нацистской партии;
- ♦ 1940 г. — выходит в свет сборник стихов «Восточная земля», прославляющий захват нацистами Польши;
- ♦ апрель 1942 г. — публикации в сборнике «Переустройство наших жизненных законов» политических статей;
- ♦ 1942 г. — провозглашение Мигель «наиболее ценимой немецкой поэтессой»;
- ♦ 1944 г. — внесение Мигель в «список боговдохновенных» («Gottbegnadeten-Liste»), включающий в себя самых выдающихся писателей нацистской Германии, куда вошли, кроме нее, Г. Гауптман, Г. Каросса, Г. Йост, Э.Г. Кольбенхойер и И. Зайдель; освобожденные от воинской и трудовой повинности, они тем не менее должны были принимать участие в пропагандистских мероприятиях в армии и на заводах.

Казалось, все начиналось вполне пристойно. Молодая учительница, уроженка Кёнигсберга (ныне Калининград), увлеченно воспевавшая самую отдаленную часть Восточной Пруссии, сразу же привлекла внимание публики своими стихами, среди которых особое место занимали баллады или, как она их называла, «эпические стихи», посвященные деяниям времен Средневековья и даже более ранних эпох, происходившим в этих краях. За ними

последовали рассказы, очерки, исторические статьи, посвященные прошлому и культуре Восточной Пруссии, публиковавшиеся в «Остпрройсише Цайтунг» («Die Ostpreußische Zeitung»), а затем в «Кёнигсбергер Алльгемайне» («Königsberger Allgemeine»), отличавшихся особым фёлькиш-национальным настроением¹, так что у стороннего человека могло сложиться впечатление о появлении талантливого художника, искренне влюбленного в свою «малую родину». Однако эта влюбленность была особого рода. Интерес Мигель к прошлому Восточной Пруссии, особенно к обычаям и нравам исчезнувших народов и тех, которые еще сохранились, носит историко-этнографический характер, не более. Она воспринимает это прошлое так же, как европейцы воспринимали различные проявления культуры африканских народов (маски, обрядовые танцы) с некоторой долей снисходительности и удивления по поводу того, как такие отсталые народы могли создавать различные предметы повседневной жизни, вызывающие восхищение и в наше время. Причина ее столь пристального интереса к прошлому народов, населявших Восточную Пруссию, кроется в их принадлежности к нордической расе. Именно этим обстоятельством объясняется, по мнению Мигель, благостное воздействие на судьбы этих народов прихода в эти края Тевтонского ордена, который «после долгой и тяжелой борьбы победил этот умный и смелый крестьянский народ, а не «уничтожил» его [4. S. 6].

В этой связи на первый план выходит не столько воспевание народного искусства, о котором Мигель пишет вдохновенно, этого нельзя отрицать, сколько возвеличивание деяний немецких рыцарей, пришедших на эти земли в качестве завоевателей, поработителей, жестоко расправившихся с местными народами и племенами, иначе не сохранилось бы это «нордически-германское» искусство [4. S. 6]. Предположить, что народное искусство пруссов, литовцев, кашубов, мазуров и других племен могло сохраниться именно вопреки давлению захватчиков, Мигель, конечно, не могла, как не могла она и воспринять эти народности равными немецкой расе. Недаром в рассказе «Моя жизнь» («Mein Leben», 1937) Мигель заявляет, что она, «как почти все настоящие жители Восточной Пруссии, является настоящей немкой-колонисткой, являя собой смесь всех немецких и некоторых других племен» [5. S. 5]. Отсюда понятно ее восторженное восприятие романа Г. Гримма «Народ без пространства» и не менее восторженное описание стремления немцев к обретению новых пространств [6. S. 42–43]. Писательница с гордостью заявляет, что среди ее предков, занимавшихся торговлей, были представители разных немецких земель и европейских стран, «но только не поляки и литовцы» [5. S. 5]. Эта же мысль звучит и в эссе «Сновидения» («Traumgeschichte», 1943), где, говоря о жителях Кёнигсберга, Мигель замечает, что «наличие прохожих на улицах города больше не производит впечатления, что здесь живут только немцы... здесь можно увидеть латышей, литовцев, иногда лица монгольского типа, но никаких поляков!» [7. S. 107].

Колониалистская составляющая восприятия всего, что связано с Восточной Пруссией, ощущение тревоги за целостность завоеванного края определяет и тональность всего творчества Мигель. В ее балладах и прозе напоминание о славе прежних лет постоянно связано с мыслью о защите завоеванного, о предчувствии возможных потерь захваченных ранее земель, о претензиях прибалтийских государств к Германии и вообще об угрозе с Востока,

¹ Термин «фёлькиш» (völkisch / volkhaft), т.е. «народный / народнический», примерно с 1875 г. является онемеченной заменой слова «national» [Brockhaus Lexikon. Bd. 19. Tus-Wek. München 1988. S. 214], хотя постоянно встречается в сочетании «фёлькиш-национальный» и употребление которого, особенно во времена Третьего рейха, практически в любом контексте имело ярко выраженную расистскую и антисемитскую тенденцию. В научной и политической литературе этот термин употребляется применительно только к проблемам национал-социализма и не имеет хождения в современном немецком языке. Правда, слово «völkisch» можно перевести как «народный / народнический», но в этом случае полностью снимается сущность его нацистской природы [17, 18].

читай, со стороны России. Недаром любимый образ писательницы — «восточный ветер» гуляет по всем ее произведениям как напоминание о грядущей опасности с Востока.

Уже в первых стихах поэтессы эта мысль явно обретает четкое выражение. В балладе «Нибелунги» («Die Nibelungen», 1907), написанной по мотивам германского эпоса, боги выступают в роли пассивных и даже в какой-то степени боязливых восприимчивых будущего. В темном зале они «сгрудились у огня», их гнетет необъяснимый страх: *«Сказал король Гунтер: «Тяжело мне на сердце, / я слышу, как стонет восточный ветер! / Шпильман, возьми свою скрипку, / стой нам о радостных временах»* [8. S. 1]. А времена эти будут залиты кровью, и шпильман Волькер рассказывает не о прошлом, а о том, что будет с богами, о «жажде человеческой крови», о «зависти, зовущей к убийству», о «мании мести». Каждая строка его песни заканчивается восклицанием: *«О горе тому лону, которое меня родило!»* [8. S. 2].

Несмотря на то что в основе баллады лежит эпизод, предшествующий трагическим событиям в «Песне о нибелунгах», всем своим настроением она обращена к современности. Не случайно Кримхильда, прослушав песню шпильмана, восклицает: *«Никогда я не слыхала такой песни, / которая бы так меня порадовала»* [8. S. 3]. Она ощутила воинственный порыв, и в силу своей молодости не думала о трагических последствиях, ожидавших ее в далеком будущем, когда «восточный ветер» будет побежден. Примечательно, что эта баллада, помещенная в начале второго сборника стихов поэтессы, вышедшего уже в 1919 г., т.е. после катастрофы 1918 г., продолжала сохранять свою актуальность, ибо сохранялась опасность с Востока, как и надежда победить его. Правда, в другом стихотворении «Спящие боги» («Die schlafenden Götter»), написанном уже после окончания Первой мировой войны, прежний воинственный пыл угас, и поэтесса сетует на то, что *«никогда не разбудит их призыв жизни», потому что «в прах разбиты их последние жертвенные стада... / С давних пор, так давно, что люди перестали на них молиться, / и забыты имена спящих богов»* [8. S. 56].

Неким напоминанием о людях, которые чтили этих богов и занимались богоугодными делами, является сборник новелл Мигель «Истории времен древней Пруссии» («Geschichte aus Altpreussen», 1928). Среди них особое место занимает знаменитая новелла «Поездка семи членов рыцарского ордена» («Die Fahrt der sieben Ordensbrüder»), повествующая о событиях времен покорения пруссов рыцарями Тевтонского ордена. Семь членов этого ордена, включая француза и англичанина, во главе с настоятелем-комтуром заблудились в лесах Самланда (район расположения Кёнигсберга), и им пришлось заночевать в поместье одного из прусских князей, где они стали свидетелями его смерти и связанных с этим событием страшных погребальных обрядов.

Новелла лишена описания каких-либо батальных сцен, хотя в разговорах героев слышны отклики сражений; нет и намека на жестокое обращение с покоренными народами, зато упоминания о сопротивлении пруссов сопровождаются рассказами о том, как они «прививали рыцарей гвоздями к деревьям... и закаривали их в рыцарских доспехах» [9. S. 7], что не мешает настоятелю-комтуру отзываться с уважением о вождях пруссов. Когда один из рыцарей предположил, что во время битвы под Кристбургом вождь пруссов Скурдас «удрал» с поля боя, настоятель-комтур поправил его: *«Храбрый Скурдас не удрал. Он отступил и опустошил свою страну. При этом погибла еще часть его последних бойцов... Это был по-рыцарски благородный господин, я часто у него гостил»* [9. S. 28]. Вся новелла написана в духе благородного сосуществования покорителей и покоренных, рыцарского почитания героев покоренных племен, уважения их обычаев, восхищения их культурой. Не случайно один из героев новеллы резко осаживает рыцаря из Эльзаса, заявившего о том, что *«эти дикари... ничего не умели делать. — Они умели делать все еще до войны... Все умели, и еще больше, чем франки»* [9. S. 7].

Подобное отношение к бывшим врагам заметно отличается от расхожих писаний на эту тему, например, Вильгельма Коттце-Коттенродта или Вернера Янсена, и вызвано в значительной мере как достаточно глубокими знаниями Мигель истории Восточной Пруссии, так и ее стремлением обойти молчанием истинные причины покорения рыцарями народов этого региона. Не случайно писательница представляет Тевтонский орден как некое воспитательное прибежище для сыновей немецкой знати, а не как военизированное формирование, ведущее захватнические войны под предлогом христианизации язычников. Да и сами эти войны, когда заходит о них речь, в восприятии Мигель принимают облик стихийного бедствия, отчего тональность повествования обретает некий демонический характер — рыцари борются не с реальными силами, а с заклятием, поразившим эти земли, пруссы не просто народ, а колдуньи, обладающие сверхчеловеческими способностями, отчего война с ними приобретает затяжной и жестокий характер: *«Когда здешняя земля трижды вберет в себя столько немецкой крови, сколько она вобрала судаитской, только тогда снимется с нее проклятие, и она снова станет такой же плодородной, как и раньше»* [9. С. 37].

Однако этот демонизм сплошь и рядом обретает реальную подоплеку, суть которой состоит в завоевании орденом пространства для немецких поселенцев, а не изгнание демонов. Отсюда стремление, несмотря на внешне корректное отображение жизни и быта пруссов с поправкой на их языческие обычаи (человеческие жертвы в связи со смертью последнего князя пруссов), подчеркнуть разницу в общечеловеческом смысле между пруссами и немецкими поселенцами и, прежде всего, на расовом уровне. Хотя Мигель рассматривает пруссов как родственников германцев, пускай и очень дальних (она относит их к нордическому собратью племен, отсюда и постоянное подчеркивание голубоглазости пруссов, стремление их знати походить на немцев) [9. С. 17, 18, 46, 54, 62, 68, 78], все они, в отличие от немецких поселенцев, лишены некоей религиозной ясности, лучезарности, жизнеутверждающего настроения. Даже внуки умирающего князя, представленные Мигель как ангелы во плоти, принявшие безоговорочно многие проявления немецкой цивилизации, язык, рыцарство, приносятся наряду с породистыми лошадьми и собаками в жертву уходящему вместе с князем миру пруссов. Этому красивому, но страшному миру противопоставлены светлые, радостные образы детей колонистов, истинных немцев, хотя и происходящих от смешанных браков, что, по мнению Мигель, и есть выражение той благодати, которую принесли на землю Восточной Пруссии рыцари ордена. Представляя одного из них, Мигель не без гордости отмечает: *«Это было хорошее, светлое, белое лицо с удлинненной узкой головой... Мальчик стоял прямо, с выражением собственного достоинства, как это свойственно детям свободных людей»* [9. С. 79].

Кажется, что эти слова взяты из учебника по расовой гигиене и явно выпадают из общего контекста повествования, но именно эта мысль о расовом смешении близких по крови народов лежит в основе новеллы «Поездка семи членов рыцарского ордена», как, впрочем, и других новелл сборника «Истории времен древней Пруссии», и поэтому заключительные страницы новеллы являются своего рода апофеозом, восхвалением деяний рыцарей Тевтонского ордена на земле пруссов. Не случайно эта повесть в годы войны входила в серию книг, предназначенных для фронта.

Нужно сказать, что проза Мигель, в отличие от ее стихов, как бы ими ни восхищались любители балладной эпики, более поэтична. Многочисленные сборники рассказов писательницы пользовались успехом у читателей, и, что любопытно, в большинстве своем они посвящены мелким, домашним событиям, внутреннему миру детей, их восприятию жизни, природы Восточной Пруссии. Это даже не идиллии частной жизни, а какие-то зарисовки, импровизации, обретающие форму поэтического рассказа. Разительное несоответствие

непоэтической поэзии, лишенной образности, тяжеловесной, неуклюже политизированной, и поэтической прозы, по-настоящему раскрывающей неброскую красоту Восточной Пруссии, — составляет основную особенность творчества Агнес Мигель.

Было бы неверным воспринимать ее как чистого апологета национал-социалистской идеологии, тем более Мигель времен 1920-х годов, ею правило мировоззрение фёлькиш-национального толка, основные постулаты которого — национал-шовинизм, проблематику «малой родины» — она, в силу несомненного таланта, умела передать, особенно в прозаических произведениях, в приемлемой форме, далекой на первый взгляд от политических веяний времени. Однако постепенно фёлькиш-национальные тенденции в творчестве писательницы начинают приобретать радикальные черты, что напрямую связано с обострением политической ситуации в Германии.

В преддверии прихода к власти нацистов выходит новый сборник стихов Мигель «Осение песнопения» («Herbstgesang», 1932), который по своему духу, по националистическому настрою свидетельствует о смене парадигмы в творчестве поэтессы. Недаром подзаголовок к нему гласит «Новые стихи» («Neue Gedichte»). Они действительно новые как по форме (тяжеловесные, с претензиями на александрийскую строфику), так и по содержанию, полные откровенных политических интенций. Здесь Мигель выступает в образе матери-защитницы Восточной Пруссии, как ее потом и станут величать, ибо первая часть сборника — это некая программа для будущих властителей Германии по сохранению и дальнейшему завоеванию восточных земель. Пока поэтесса не называет конкретных адресатов, к кому обращены ее страстные призывы, но читателю тех лет и так было ясно, что в виду имелись нацисты, а не социал-демократы или — *horribile dictum* — коммунисты. После Первой мировой войны Кёнигсберг вместе с прилегающими к нему землями был отрезан от Германии, и поэтому главная мысль, пронизывающая большинство стихотворений сборника, это отчаянный призыв к Германии, выступающей в облике Пруссии, воссоединить любыми средствами (позднее и вполне конкретными) Кёнигсберг с родиной: «О мать, о мать, не оставляй нас одних! / ... Спрячь нас в складках твоего плаща / и никогда не заставляй нас оставаться подвластными чужеземцам» («*Patrona Borussiae*») [10. S. 12]. Эта же мысль пронизывает и стихотворения «Восточная Пруссия» («*Ostpreußen*»), «Кёнигсберг» («*Königsberg*»), «Годовщина» («*Der Jahrestag*»). В стихотворении «Там, за Вислой» («*Über der Weichsel drüben*»), являющемся парафразом известной песни немецких колонистов «На Восток мы стремимся» («*Nach Ostland wollen wir reiten*»), Мигель пытается напомнить немцам, а с ними и будущим властителям Германии, о славной истории колонизации восточных земель, страдавших от «желтых татар, насильно увозивших наших юных дочерей», от «белого царя, убивавшего наших юных сыновей», от «заносчивых старост» [10. S. 14]. Ко всем этим бедам прибавилась и «красная опасность»: «На Востоке видно красное сиянье. / Просыпайтесь, дети, время пришло! / Время бежать, мама, ты видишь зарево огня!» [7. S. 15]. И отчаянный призыв: «Там, за Вислой, отчизна, услышь нас! / ... Протяни нам твою руку, / потому что только она одна нас сможет сохранить, / Германия, святая страна, / отчизна!» [10. S. 15].

В стихотворении «Гинденбург» («*Hindenburg*») идет напоминание о способах разрешения проблемы с применением силы. Мигель поет осанну «великому старцу», под чьим руководством немецкие войска нанесли поражение русской армии генерала А.В. Самсонова в битве под Танненбергом в Первой мировой войне. Это событие рассматривалось фёлькиш-националами как ответ на разгром немецкого ордена соединенными войсками Литвы и Польши в 1410 г. именно здесь, под Танненбергом.

Из восторженной поклонницы красот и древностей Восточной Пруссии Мигель преобразилась в стихах этого сборника в некую деву-воительницу, призывающую немцев не забывать о своей завоевательской миссии на Востоке. Эта же тенденция, но значительно усиленная, проявилась в следующем сборнике стихов Мигель «Восточная земля» («Ostland», 1940), который, пожалуй, ярче, чем какое-либо другое произведение поэтессы, раскрыл ее истинные политические предпочтения. Фактически она поставила себя на службу национал-социализму, став глашатаем захватнических идей Гитлера. «Восточная земля» — это поэтический концентрат политических ожиданий Мигель, так как основу его составляют не новые стихи (их там всего три), а собрание из всех предыдущих сборников стихотворений определенной направленности, которую можно выразить старинным немецким лозунгом «Drang nach Osten».

В этом смысле примечательно стихотворение «Хоровод празднества солнцеворота» («Sonnenwendreigen»), написанное Мигель в 1939 г. в Данциге как раз к началу нападения Германии на Польшу. Воодушевленная передачей Литвой Германии Мемеля (Клайпеды) и мемельской области, происшедшей под сильным давлением нацистов, но и не без корыстных надежд самих литовцев, желавших в ответ на эту уступку с помощью Германии вернуть свою столицу Вильнюс, входившую тогда в состав Польши, Мигель создает произведение-прокламацию, призывающее к возвращению прежних немецких владений в Восточной Пруссии: «*Сестра Мемель, ты, столь долго печалившаяся, заводи танец! / ... Я, Кёнигсберг, твоя коронованная сестра, веду тебя! / ... наконец обрела ты родину! / ... Данциг, тебя призывает Штеттин! / ... О прекраснейшая из всех нас, / Войди в наши ряды, сестра!*». На призыв отвечает Данциг: «*... Смотрите, я стою, обряженная невеста, / Без страха ожидаю того, кому я посвящена. / Тому, кто водит солнце, знает то время, / Когда придет мой рыцарь и освободит меня, изгнанную!*» [11. S. 57—58]. И рыцарь, в лице Гитлера, явился вскоре после написания этого стихотворения, начав войну с Польшей, за что Мигель, полная неопишемого восторга, обратилась к нему в послании «К фюреру» («An den Führer») с прочувственными словами:

«Пресильная
Наполняет меня смиренная благодарность за то, что я это переживаю,
Что я могу еще Тебе служить, служить немцам
Моим даром, которым наградил меня бог!
Те мои близкие,
Мои павшие, любимые спутники детства,
Те мертвые, которые ждали Твоего прихода,
Те предки, чья оставленная родина
Вернулась благодаря Тебе, —
Все они,
Живущие в моей душе, в моей крови,
Вместе со мной благословляют Тебя!» [12. S. 3—4].

Оба эти стихотворения были опубликованы по распоряжению Геббельса в «Веймарских листках 1940 года», выпущенных по случаю «великогерманской недели книги». Этот факт свидетельствует не только о признании нацистами своевременности поддержки их милитаристских устремлений со стороны творческой интеллигенции, но и о полном переходе Мигель на службу нацистской пропаганде. Здесь уже следует говорить не об «огромном заблуждении» писательницы, как это пытается доказать Анни Пиоррек, биограф Мигель [7. S. 190], а о сознательном поступке человека, увидевшего в национал-социализме силу, способную — не забудем, что гитлеровские войска стояли уже на границе с Советским Со-

юзом — возродить былую славу Восточной Пруссии, вернуть в рейх Кёнигсберг, отрезанный от Германии польскими провинциями, и обеспечить его безопасность, как это представлялось тогда, на века. Этим, собственно, в значительной степени объясняется столь страстная приверженность Мигель к национал-социалистскому режиму. Опять, как это было и с другими фёлькиш-националами, на первое место выступали причины местного характера, не определявшие сущность нацистского «движения» как такового, в данном случае защита Кёнигсберга, «малой родины»,² однако у Мигель эта степень приверженности к преступному режиму в итоге обрела оттенок некой истерической патетики, питавшейся ощущением вселенской катастрофы — с неминуемым падением Кёнигсберга неминуем и конец света. Поэтому она с таким восторгом восприняла нападение Германии на Польшу, увидев в этом практическое исполнение своих заветных мечтаний. В стихотворении «К молодежи Германии» («An Deutschlands Jugend») эта война представлена как некое празднество юности, как апофеоз силы и мощи армии, «единения народа, познавшего себя, следующего призыву фюрера / борющегося впервые не как только супруги и братья / но и как женщины и дети, / мы боремся, взяв на себя, как и они, все тяготы войны».

«Молодость Германии! С песнями перед народами
Вступаешь ты в свой день, в день будущего!
... Но судьба
Участь нашего народа, отмеченная изначально
Рунами борьбы, бросает вновь в стальные шлемы
Как приговор обломки жезел, —
и вновь уж улицы дрожат
От поступи колонн армейских, от танков грохота,
Дрожат уж небеса над хлебными полями опять
от пронзительно осиною звона эскадрилий» [13. S. 48—49].

Примечательно, что стихи Мигель этого времени обращены преимущественно к молодежи, в них она видит ту силу, которая не только воссоединит Кёнигсберг с родиной, но и завоюет весь мир. Именно на этот период приходятся ее частые выступления на встречах гитлерюгенд, именно в это время ее призывные стихи публикуются в журнале «Вилле унд Махт» («Wille und Macht»), «ведущем органе национал-социалистской молодежи», шеф-редактором которого был лидер немецкой молодежи Бальдур фон Ширах. Воспевание героического начала в молодежи, превосходства немцев над другими воинами особенно проявилось в стихотворении «Юный германец» («Junger Germane», 1940), написанном под впечатлением посещения Ватикана, где на одном из рельефов изображен «Юный германец, одетый в зве-

² Достаточно вспомнить австрийского писателя Франца Тумлера (1912—1998), надеявшегося с помощью нацистов вернуть в лоно Австрии Тироль, входивший после Первой мировой войны в состав Италии. Тумлер был членом различных пронацистских и нацистских организаций, правда, там он долго не задержался. Его произведения издавались огромными тиражами, сам автор, учитывая его молодость, был отмечен небывалым количеством премий, а его имя стояло в так называемом «списке фюрера», согласно которому он подлежал освобождению от службы в армии ввиду высокой культурной значимости его творчества. Тирольский национализм Тумлера сыграл с ним злую шутку, ибо в профессиональном и стилистическом отношении его произведения резко отличались от официальной нацистской литературы, и Геббельс использовал это обстоятельство как подтверждение расцвета литературы в Третьем рейхе. Однако вскоре Тумлер осознал свою ошибку и всеми силами старался вырваться из пропагандистских оков нацистов на фронт, что ему и удалось после трехкратного обращения к фюреру. Фронт как искупление вины, однако, после 1945 г. не был принят во внимание, и несколько лет писатель был лишен права публиковать свои произведения. Последующее творчество Тумлера свидетельствует о решительном осуждении писателем ошибок молодости, и его книги заняли достойное место в литературе современной Австрии.

риную шкуру». Если от античных скульптур веет холодом, а «*глаза богов и героев пусты / и в никуда протянута повелевающая рука Цезаря*», то внезапно в лучах солнца явившаяся поэтессе фигура мальчика из прошлых времен вызывает восторг:

«Вот улыбаешься ты, ко мне шагнувший
Как будто из молодого весеннего леса родины!
О милый образ!
Ты, мальчик-воин, прекраснейший из всех германцев!
Босой, словно ребенок за сбором ягод,
О побежденный победитель, ты, столь цветущий,
Избран быть бессмертным, вечно не стареть!

... Рука художника, вызволившая тебя из безгласного камня,
Чтоб славу триумфатора возвесть,
И то, что ты и все твои друзья всегда вокруг него стоите,
Он вместе с вами в вечность вовлечен...
Овеянное славой имя, отзывало
Словно звук трубы, и от трофеев, битвы и победы
Осталось только это:
Образ, созданный римлянином,
Нашей светловолосой юности, которая сокрытой
На Севере росла и утром всех народов
В сиянии из лесов явилась!» [14. S. 1—2].

Столь лестные сравнения для юных сердец, отравленных нацистской пропагандой, имели успех. Об этом сообщает в своем письме с фронта ефрейтор Хериберт Менцель (Menzel, Herybert 1906—1945), известный нацистский бард, поздравляя Мигель с присуждением ей в 1940 г. премии имени Гёте: «Я знаю, что Вас ничто так не радует, как интерес, проявляемый молодежью к Вашему творчеству ... Они осаждают Вас просьбами приехать в их лагеря, в их замки. И Вы являетесь частой гостью у них. Где Вы еще найдете более внимательных, благодарных и исполненных уважения слушателей? ... Очень многие молодые люди, некогда слушавшие Вас, стали теперь солдатами. Дорогая госпожа Агнес Мигель, ни с чем не сравним тот факт, что именно Вы были тем человеком, который так пламенно и жгуче закалил сердца этих молодых солдат во время похода на Польшу, придавал атакующим колоннам порыв и неустойчивый наступательный дух. Ваш призыв из Восточной Пруссии к отчизне за Вислой: «Протяни нам твою руку, потому что только она одна нас сможет сохранить», он затронул больше всего нас, молодых. Мы с удовольствием сделали бы это раньше, как восторгались мы, когда фюрер отдал приказ приступить к нападению, к освобождению, к возвращению на родину наших братьев. И вот теперь весь немецкий Восток свободен! Как Вы, должно быть, счастливы!» [15. S. 23—24].

Незадолго до падения Кёнигсберга Мигель удалось покинуть осажденный город. Какое-то время она провела в замке своего собрата по творчеству Бёрриса фон Мюнххаузена и закончила свой жизненный путь в городе Хамельне. Стихи этого периода посвящены Восточной Пруссии, прощанию с любимым городом, и надо отдать должное Мигель, именно эти стихи, несмотря на некую взвинченность, близкую к истерике, пожалуй, наиболее искренние, и искренность эта понятна, ибо с потерей Кёнигсберга для нее рушился весь мир, и все остальное уже не имело никакого значения:

**Зачевский Евгений Александрович,**

доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка
Институт прикладной лингвистики

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Zachevskiy Evgeniy A.,

Doctor of Philology, Professor,

Department of Russian Language

Institute of Applied Linguistics

St. Petersburg State Polytechnic University

E-mail: archont35@mail.ru



И.С. Урюпин

Архетипический синтез Востока и Запада в историко-культурном пространстве

Пьеса М.А. Булгакова «Бег»

В статье в широком историко-литературном контексте рассматривается архетипическое пространство пьесы М.А. Булгакова «Бег», вбирающее в себя онтологические и культурные «знаки» и «символы» Востока и Запада, преломляющиеся через призму русского национального мировидения. Синтезом Востока и Запада в пьесе оказывается Крым, где начался первый акт истории государства Российского (крещение князя Владимира) и где разворачивается ее заключительный акт — бег-исход «Белой гвардии» в изгнание. Судьбы русских изгнанников, их мытарства на Востоке и Западе представлены в пьесе в образе «тараканьих бегов», восходящем к русскому фольклору и ставшем символом бессмысленного и вместе с тем драматического бытия русской интеллигенции вдали от родины.

Ключевые слова: М.А. Булгаков, «Бег», архетипическое пространство, крымский текст, синтез Востока и Запада.

The article focuses on the analysis of the archetypal space of M.A. Bulgakov's play *Flight* considered in a broad historical and literary context. This space incorporates the ontological and cultural "signs" and "symbols" of the East and the West, seen through the lens of the Russian national worldview. Crimea turns out to be a synthesis of the East and the West in the play the stage of the first act of the Russian state history (the baptism of Prince Vladimir), as well as the locale of its final act — the flight-exodus of the "White Guard" into exile. The fate of Russian exiles, their ordeal in the East and the West are presented in the play in the image of "cockroach races", going back to Russian folklore and acting as a symbol of the meaningless and at the same time dramatic existence of Russian intelligentsia away from home.

Keywords: M.A. Bulgakov, *Flight*, archetypal space, the Crimean text, synthesis of East and West.

Проблема духовного противостояния Востока Западу и Запада Востоку, волновавшая мыслителей на протяжении веков и от невозможности ее окончательного разрешения давно перешедшая в разряд «вечных», в первой половине XX века получила новый импульс в своем развитии: стало очевидно, что Азия и Европа «обе являются хранительницами бесценной сокровищницы идей» [1. С. 398], равно дорогих и жизненно необходимых человечеству, и потому они не взаимоисключают, а дополняют друг друга. Их великим синтезом явилась Россия, у которой, по мнению Н.А. Бердяева, не «две души», как утверждал М. Горький в своей одноименной статье (1915), а одна, вбирающая в себя две ипостаси, — «азиатскую и европейскую души» [2. С. 320]. В ее неведомых глубинах органично претворились и переплелись историко-культурные, философско-психологические, ментально-онтологические токи Запада

и Востока, определившие особое призвание России — разделять и примирять цивилизации. «Мы, как послушные холопы, / Держали щит меж двух враждебных рас / Монголов и Европы!» [3. Т. 3. С. 244], — заявлял А.А. Блок в стихотворении «Скифы», где скифы — не только абстрактный символ стихийно-варварской природы революционного народа, но и исторически мотивированная метафора самой Руси, ибо, по замечанию Л.Н. Гумилева, «народ... "рос" — скифский», «грубый и дикий», жил «у Северного Тавра» [4. С. 207], а центр «земли русов находился в Крыму» [4. С. 206].

Крым, прародина русов, был древнейшим перекрестком культур Востока и Запада. В его недрах схоронили

И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то пришлых рас,
Чей облик стерт, а имя позабыто [5. С. 183].

Так, восхищаясь древностями Тавриды, в стихотворении «Дом Поэта» (1926) писал М.А. Волошин, вошедший «в историю крымской поэтической темы» «не только в роли Колумба» «и даже не только Америго-описателя», «но еще и в роли эстетического Кортеса» [6. С. 161] — покорителя и исследователя неведомой земли.

Прочитав в журнале «Россия» первую часть романа «Белая гвардия», М.А. Волошин пригласил М.А. Булгакова к себе в Коктебель, но не столько на безмятежный отдых, сколько на серьезный разговор о судьбе России, ее пути и призвании. Поэту импонировала позиция начинающего писателя, достаточно четко проявившаяся в его романе о Гражданской войне, — позиция объективного изображения «русской усобицы» (о чем он напомним ему в дарственной надписи к одной из своих акварелей: «Первому, кто запечатлел душу русской усобицы» [7. С. 119]). Стремление М.А. Булгакова «стать бесстрастно над красными и белыми» [8. Т. 5. С. 447] полностью совпадало с волошинским признанием в стихотворении «Гражданская война» (из цикла «Усобица», 1919): «А я стою один меж них / В ревушем пламени и дыме / И всеми силами своими / Молюсь за тех и за других» [5. С. 113]. Очевидная близость воззрений художников на события современности стала залогом того, что «Волошин и Булгаков подружились, стали единомышленниками» [9. С. 133].

В Крыму не без влияния М.А. Волошина у М.А. Булгакова родился замысел пьесы о «бегстве» из России представителей «белой гвардии», которые, спасаясь от красного террора, вынуждены были покинуть Россию и устремиться «за горизонт». Среди них была и вторая жена писателя Л.Е. Белозерская, рассказывавшая потом М.А. Булгакову «все свои злоключения и переживания за несколько лет эмиграции, начиная от пути в Константинополь и далее» [7. С. 4]. Для многих русских интеллигентов этот путь начинался в Крыму. Из Крыма отправился на чужбину С.Н. Булгаков, «изгнанный из родины» [10. С. 115] большевистским правительством в 1922 г. и осмысливший в своем «Константинопольском дневнике» трагедию верных сынов России, ставших в одночасье «изгоями» в Европе.

«Изгой» [9. С. 176] первоначально называлась и пьеса М.А. Булгакова «Бег», прототипом одного из героев которой, приват-доцента Сергея Голубкова, по мнению Б.В. Соколова, послужил известный религиозный философ, «поскольку Голубков — анаграмма фамилии Булгаков» [11. С. 253].

Действие первого сна «Бега» не случайно разворачивается в Крыму в одном из монастырей, где укрылись от красных представители «белой гвардии», ожидающие решающего сражения с армией Буденного и уже утратившие надежду на победу. Крым в пьесе — не просто

место действия, это символический тоpos, исток русской цивилизации, поскольку киевский князь «Владимир крестился в Корсуни» [12. С. 381] — в Херсонесе Таврическом. Стало быть, в Крыму развернулся первый акт истории государства Российского, установившего культурные, политические, религиозные связи с Византией, то есть с Западом. Однако Крым оказался и последним актом русской истории, поскольку из Крыма осуществлялся бег-исход «белой гвардии» в изгнание. Эту историческую закономерность не мог не учитывать М.А. Булгаков, показавший трагедию богооставленности России. «Коварной страной!» [8. Т. 3. С. 222] называл Таврию генерал Чарнота. Даже монахи смирились с неизбежным поражением белых и, молясь о спасении «Святителю отче Николаю», по сути поют панихиду России, готовясь «мученический венец принимать» [8. Т. 3. С. 226]. В то же время их владыка архиепископ Симферопольский и Карасу-Базарский Африкан («Пастырь, пастырь недостойный!»,) под видом химика Махрова «покинувший овцы своя» [8. Т. 3. С. 226], «во дворце в Севастополе» убеждает генерала Хлудова в божественной необходимости бежать из страны, оправдывая свое малодушие аналогией из ветхозаветной книги Исход [Исх. 12, 37]: «*И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокохоф, до шестисот [тысяч] пеших мужчин, кроме детей... Ах, ах... И множество разноплеменных людей вышли с ними...*» [8. Т. 3. С. 244]. Однако «сыны Израилевы» покидали ненавистный им Египет, проклиная годы рабства на чужбине, и двигались за Моисеем по пути к «обетованной земле», и потому их переход через «Черное море» был началом спасения, а переход русского воинства через Черное море в изгнание предвещал потерю родной земли и страдания. Это понимал Хлудов, выдвинувший убедительный библейский контраргумент:

«Помню-с, читал от скуки ночью в купе. “Ты дунул духом твоим, и покрыло их море... Они погрузились, как свинец, в великих водах...” Про кого это сказано? А? “Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытятся ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя...”» [8. Т. 3. С. 244].

В Библии «это сказано» о преследующих «сынов Израиля» слугах фараона, которых своим карающим мечом жестоко накажет Господь. Но Он же многочисленными бедствиями испытывает и свой народ, прежде чем дарует ему свободу. В сознании Хлудова эти два акта трагической истории библейского народа контаминируют, становясь зловещим знаком судьбы белой армии, частью «истребленной», а частью «погруженной, как свинец, в великие волны» первой русской эмиграции. Суровые испытания предрекает и архиепископ Африкан «чадам своим, Христовому именитому воинству» [8. Т. 3. С. 233], их предвестие — «зверский, непонятный в начале ноября в Крыму мороз», который «сковал Сиваш, Чонгар, Перекоп» [8. Т. 3. С. 227].

«На неизвестной и большой станции где-то в северной части Крыма», которую не удастся обогреть «переносными железными черными печками», решается участь «белой гвардии», впрочем, она уже определена: «Штаб фронта стоит третьи сутки на этой станции и третьи сутки не спит, но работает, как машина. И лишь опытный и наблюдательный глаз мог бы увидеть беспокойный налет в глазах у всех этих людей» [8. Т. 3. С. 227].

«Хлудов. Три часа тому назад противник взял Юшунь.
Большевики в Крыму.
Главнокомандующий. Конец?!
Хлудов. Конец» [8. Т. 3. С. 232].

Этот чрезвычайно важный, судьбоносный момент Гражданской войны, зафиксированный в пьесе М.А. Булгакова, становится кульминационным и в повести А.Г. Малышкина «Падение Даира» (1921), в которой дан взгляд на произошедшие события из стана красных, воспринявших взятие Перекопа как обретение «обетованной земли», «где молоко, мясо и мед» [13. Т. 1. С. 145]:

«В двенадцать часов без выстрела форсирована терраса. Противник бежал, угрожаемый красными дивизиями с тыла. Соединившиеся части атакуют первую линию Эншуньских укреплений» [13. Т. 1. С. 143]; «исторический вечер 7 ноября — первый прорыв левого сектора Эншуньских дефиле» [13. Т. 1. С. 144]. Потерпевшие поражение последние защитники Крыма вынуждены были бежать «к кораблям»: «толпы бежали по дамбам, топча брошенные узлы и тюки, под бегущими зыбкой обвисали и трещали сходни, с берега кричали и проклинали оставленные, гудки кричали угрюмо с берега в нависающую жуткую расправу и смерть» [13. Т. 1. С. 148].

В русской литературе послереволюционного десятилетия, особенно в творчестве писателей, покинувших Россию (И.А. Бунин, Н.А. Тэффи, Д.С. Мережковский, К.Д. Бальмонт и др.), бег является осевым лейтмотивом. Он становится центральным и в одноименной булгаковской пьесе, приобретая символично-архетипическое значение: это не только неутомимый ход времени, движение истории, «коренные изменения, вызванные победой революции» [14. С. 142], но и мытарства русской интеллигенции — ее «хождение по мукам», путь от себя и к себе, который проделали главные герои произведения Сергей Голубков и Серафима Корзухина. Если в начале пьесы они сетовали на судьбу, вырвавшую их из привычного круга жизни («Из Петербурга бежим, все бежим да бежим...» [8. Т. 3. С. 235]), то в конце, испив горькую чашу скитаний и осознав ценность настоящих человеческих чувств, признаются: «Куда, зачем мы бежали?» [8. Т. 3. С. 276]. В постижении смысла бытия герои «Бега» повторили траекторию нравственно-психологических и философско-политических исканий русских эмигрантов первой волны — в целом и в частности Л.Е. Белозерской, которая, пройдя испытание эмиграцией, в конце 1923 г. вернулась в Россию и поведала о своей жизни в изгнании в книге воспоминаний «У чужого порога».

«Вся первая часть, посвященная Константинополю, — замечала Л.Е. Белозерская, — рассказана мной в мельчайших подробностях Михаилу Афанасьевичу Булгакову, и можно смело сказать, что она легла в основу его творческой лаборатории при написании пьесы “Бег”...» [7. С. 4]. Образ Константинополя, созданный в ней драматургом, оказался не просто достоверным, но и во многом аллегорическим, ведь М.А. Булгаков из огромного фактического материала, предоставленного его женой, «как художник брал только самые яркие пятна, нужные ему для сценического изображения» [7. С. 175], чтобы показать великий перекресток цивилизаций, символический «Гран-Базар» [8. Т. 3. С. 257], где схлестнулись Восток и Запад. Отсюда такие точные, эпически-развернутые ремарки, предваряющие драматические сны-видения в городе контрастов и противоречий, в «городе-кентавре», соединившем Европу и Азию, Царьград и Стамбул: «Странная симфония. Поют турецкие напевы, в них вплетается русская шарманочная “Разлука”, стоны уличных торговцев, гудение трамваев. И вдруг загорается Константинополь в предвечернем солнце. Виден господствующий минарет, кровли домов» [8. Т. 3. С. 250].

Трудно согласиться с В.И. Немцевым, утверждающим, что в пьесе «места пребывания потерпевших гражданское поражение русских только служат фоном, усиливающим их личную трагедию» [15. С. 106]. Разве только фоном для русских эмигрантов являлся Константинополь, с которым на протяжении веков связывались надежды на возрождение мирового православного царства (о чем страстно мечтали Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя» и К.Н. Леонтьев в книге «Византизм и славянство»)? Да и сам Царьград, по воле Провидения завоеванный турками-османами в 1453 г., стал «изгоем» на своей земле, насильственно был лишен своего исторического имени и предназначения, превратившись в Стамбул¹. Потому так

¹ Просто «в город» — «крым.-тат. Ystambul, Stambul <...> из нов.-греч. Στήιπολι от выражения εἰς τὴν Πόλιν» [16. Т. 3. С. 744].

неуютно чувствуют себя в нем русские «изгои» («У, гнусный город!») [8. Т. 3. С. 259], униженные и обездоленные («Сдыхаем с голоду» [8. Т. 3. С. 260]), на каждом шагу сталкивающиеся с презрением и подозрением («Насмотрелись мы тут» [8. Т. 3. С. 260]). Константинополь, столица Византийской империи, древнейшая колыбель европейской культуры, оказался центром восточной цивилизации — Османской (Оттоманской) империи, и «Восток» в нем окончательно победил «Запад». Восточная ментальность оказалась чужда русским эмигрантам с их европейским комплексом мыслей и чувств. В этом, видимо, причина того, что Константинополь, пропустивший через себя большую часть бежавших от большевистского режима граждан поверженной Российской империи, не стал наряду с Берлином и Парижем центром русской эмиграции.

Л.Е. Белозерскую в Константинополе поражало не столько многообразие культур, сколько их ярко проявляющаяся автономность (и даже некоторая несовместимость) по отношению друг к другу. В «европейской части Константинополя, самой шикарной» под названием Пера «расположены посольства, лучшие магазины, отели» («Улица Пера шириной с наш старый Арбат — с трамваями, ослиами, автомобилями, парными извозчиками, пешеходами» [7. С. 7]), в «исконно турецкой», по имени которой официально называется и весь город — Стамбул, находится «Блистательная Порта (Совет министров)» («Турецкие дома с плотными жалюзи на окнах, со своей замкнутой, береженной от постороннего глаза жизнью» [7. С. 7]). Эта автономность присутствует и в пьесе М.А. Булгакова «Бег», где драматург противопоставил богатую Перу, чуть было не ставшую местом падения Серафимы («Мужчин пошла ловить на Перу» [8. Т. 3. С. 260]), бедному кварталу в Стамбуле, где нашли приют несчастные беженцы из России («Каменная скамья у калитки. Повыше дома — кривой пустынный переулочек. Солнце садится за балюстраду минарета» [8. Т. 3. С. 256]; «Ах, Стамбул...» [8. Т. 3. С. 261]).

Контраст «азиатских переулков» «сонного Стамбула» [17. Т. 3. С. 569] и «блестящей сотнями витрин» Перы, где «развешаются над посольствами иноземные флаги, двенадцатизычная толпа шумит, суетится, шатается из лавок в лавки» [17. Т. 3. С. 557], характерен и для романа А.Н. Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924), в котором, в частности, показана суровая жизнь русских эмигрантов на берегу Мраморного моря: *«На Перу кучками бродят русские офицеры с черепом и костями на погонах, в измятых лихо картузиках, с облезлыми маузерами, торчащими из кармана. Странно и нище одетые русские женщины с тоской отворачиваются от витрин»* [17. Т. 3. С. 557]. Чтобы выжить в громадном чужом городе, Семен Иванович Невзоров, «уничтоженный, брошенный судьбою на дно» [17. Т. 3. С. 567], во что бы то ни стало решает бороться с враждебными обстоятельствами, и в его сознании рождается гениальная идея — *«Тараканьи бега»* («Это законно. Это ново. Это азартно») [17. Т. 3. С. 567], немедленно воплощающаяся в жизнь (курсив А.Н. Толстого. — И. У.). «И вот в кафейной грека Синопли появилась над дверью, над портретами Невзорова и Ртищева, вывеска поперек тротуара:

БЕГА ДРЕССИРОВАННЫХ ТАРАКАНОВ.

«Народное русское развлечение»

(курсив А.Н. Толстого) [17. Т. 3. С. 568].

Никогда не существовавшая в реальности достопримечательность Константинополя — «тараканьи бега», возникшая первоначально в воображении А.Т. Аверченко (рассказ «Константинопольский зверинец») и перешедшая затем в роман А.Н. Толстого, нашла отражение и в пьесе М.А. Булгакова: *«Стоит необыкновенного вида сооружение, вроде карусели, над которым красуется крупная надпись на французском, английском и русском языках: "Стой!"*

Сенсация в Константинополе! Тараканьи бега!!! Русская азартная игра с дозволения полиции» [8. Т. 3. С. 250].

Тараканьи бега — архетипический образ, восходящий к русскому фольклору, в котором таракан выступал то «одним из воплощений домового» [18. С. 5], то связывался с «душами умерших родственников» [18. С. 5], то соотносился с человеком, обреченным на смерть-жертву. Отсюда в русской глубинке получил распространение обряд «похорон таракана», в котором этнограф И.А. Морозов усматривает древнейший ритуал прощания «нового со старым», этот обряд сопровождался «предпохоронной» «беготней» по селу с «заплачками», а потом завершался «скатыванием саней или телеги в овраг» [18. С. 4]. Суета «тараканьих» похорон, нарочито нагнетавшаяся в обряде, подчеркивала скоротечность жизни в погоне за мнимыми, ничтожными ценностями. Утраченный уже в 1920-е годы ритуал «похорон таракана» вызвал в воображении русских писателей образ «тараканьих бегов». «Это лишь горькая гипербола и символ, — полагала Л.Е. Белозерская, — вот, мол, ничего иного эмигрантам и не остается, кроме тараканьих бегов» [7. С. 176] — напрасной суеты в погоне за призрачными ценностями и мнимыми достижениями. Образ «тараканьих бегов» очень удачно передает «общее состояние сорвавшегося со своих привычных устоев мира (недаром карусель Артура Артуровича украшена флагами разных стран и надписями на русском, английском и французском языках)» [19. С. 101—102]. «Тараканий царь» Артур Артурович, режиссируя «бега», пытается управлять не столько тараканами, сколько «беспорядочным перемещением мелких и мельчайших человеческих частиц, заряженных несовпадающими интересами» [20. С. 188], провоцируя скандалы («Жульничество!» [8. Т. 3. С. 254]) и распаляя низменные страсти публики («Англичане схватываются с итальянцами. Итальянцы вытаскивают ножи <...> Сон вдруг разваливается. Тьма... Настает тишина, и течет новый сон» [8. Т. 3. С. 255]).

В этом сне персонажи булгаковской пьесы хотят забыть константинопольский кошмар («Голубков. Вот и ночь наступает... Ужасный город! Нестерпимый город! Душный город! Да, чего же я сию-то? Пора!» [8. Т. 3. С. 263]) и мечтают о другой, яркой и счастливой жизни. «В Париж или в Берлин, куда податься? — раздумывал генерал Чарнота. — В Мадрид, может быть? Испанский город... Не бывал. Но могу пари держать, что дыра» [8. Т. 3. С. 259].

В творчестве М.А. Булгакова и Мадрид, и Берлин, да и вообще вся Европа «заселена» русскими эмигрантами, но вожаемой целью для многих из них все же оставался Париж. «В Париж! В Париж!» [8. Т. 3. С. 262] — устремляется Люська в пьесе «Бег»; «В Париж так в Париж!» — соглашается с ней Чарнота: «вообще куда-нибудь ехать надо. Я же говорю, думал — в Мадрид, но Париж — это, пожалуй, как-то пристойнее» [8. Т. 3. С. 263]. Слова «В Париж! В Париж!» вызывают ассоциацию со знаменитой фразой «В Москву! В Москву! В Москву!» из пьесы А.П. Чехова «Три сестры». Подобно чеховским сестрам, уставшим от прозябания в провинциальной глуши и мечтавшим о настоящей, наполненной высоким смыслом жизни в Москве, русские эмигранты тосковали о Париже, блистательной европейской столице, где человеку открываются широкие возможности и где, как им казалось, легко реализовать свой духовно-культурный потенциал, невостреченный в чуждом русским европейцам азиатском Стамбуле.

О Париже грезят герои многих произведений М.А. Булгакова. Кульминация пьесы «Бег», представляющая собой драматическую любовную историю — отречение Корзухина от жены Серафимы Владимировны («у меня нет никакой жены» [8. Т. 3. С. 265]) и откровение Голубкова о своих нежных чувствах к этой самоотверженной женщине («Она вам мешает, и очень хорошо. Пусть она не жена вам. Так даже лучше. Я люблю ее, поймите это! И сделаю все для того, чтобы выручить ее из рук нищеты» [8. Т. 3. С. 266]), разворачивается на фоне «осен-

него заката в Париже» [8. Т. 3. С. 264]. Парижская авантюра Голубкова и Чарноты, затеянная для спасения Серафимы от голодной смерти, закончилась выигрышем в карточной игре у бывшего товарища министра торговли двадцати тысяч долларов, которые своим недавним соотечественникам беспрепятственно помогла вынести из особняка Корзухина его «личный секретарь» — «русская эмигрантка», «принявшая французское подданство и фамилию Фре-жоль» [8. Т. 3. С. 265]. В «этом очаровательнейшем существе», «настолько тронувшем сердце» бессердечного Парамона Ильича, что он «намерен вскоре на ней жениться» [8. Т. 3. С. 265], герои узнают «походную жену генерала Чарноты» [8. Т. 3. С. 216] Люську, сумевшую пойти на компромисс с совестью, чтобы выжить во враждебной среде чужбины. Чередой сплошных компромиссов стала и жизнь самого Чарноты, которому ничего не остается в этом мире, кроме скитаний и бессмысленного прозябания на тараканьем тотализаторе: «я как Вечный Жид отныне! Летучий Голландец я!» [8. Т. 3. С. 278].

Заключение

Блаженством представляется М.А. Булгакову обретение покоя от земной суеты «тараканьих бегов», от бессмысленной жизненной беготни и рокового «бега» истории. Об этом напоминают слова Жуковского, предпосланные эпиграфом к булгаковской пьесе:

Бессмертье — тихий, светлый брег;
Наш путь — к нему стремленье.
Покойся, кто свой кончил бег!.. [8. Т. 3. С. 216].

Метафизика «бега», представленная писателем в пространстве архетипического синтеза культурно-аксиологических токов Востока и Запада, становится формой и содержанием бытия русской интеллигенции, пережившей шторм революции и выброшенной на «брег» изгнания. Удел изгнания и вечного Агасферова странствия оказывается уготован тем булгаковским героям, которые не способны преодолеть тяготение земной «черноты» (как генерал Чарнота) и устремиться от тьмы «тараканьего» прозябания к «тихому, светлому» берегу неземной отчизны (мотив крылатости не случайно эксплицируется в семантике фамилий Голубкова и Серафимы). Романтическая мечта / иллюзия М.А. Булгакова о покое как о единственно возможном пути к бессмертию, художественно претворившись в пьесе «Бег», получит свое окончательное воплощение уже в «закатном» романе «Мастер и Маргарита».

Литература

1. Гринцер П.А. Восток—Запад // Теоретико-литературные итоги XX века. — М.: Наука, 2003. — Т. 2. Художественный текст и контекст культуры. — С. 397—402.
2. Бердяев Н.А. Судьба России: Сочинения. — М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998.
3. Блок А.А. Собр. соч.: В 6 т. — М.: Правда, 1971.
4. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. — М.: Эксмо, 2008.
5. Волошин М.А. Любовь — вся жизнь: Стихотворения. Переводы. Статьи. Воспоминания о Максимилиане Волошине. — Симферополь: ДИ-АЙПИ, 2008.
6. Люсий А.П. Крымский текст в русской литературе. — СПб.: Алетейя, 2003.
7. Белозерская-Булгакова Л.Е. Воспоминания. — М.: Худож. лит., 1989.

References

1. Grintser P.A. Vostok—Zapad // Teoretiko-literaturnye itogi XX veka. — M.: Nauka, 2003. — T. 2. Khudozhestvennyy tekst i kontekst kul'tury. — S. 397—402.
2. Berdyayev N.A. Sud'ba Rossii: Sochineniya. — M.: EhKSMO-Press; Khar'kov: Folio, 1998.
3. Blok A.A. Sobr. soch.: V 6 t. — M.: Pravda, 1971.
4. Gumilev L.N. Drevnyaya Rus' i Velikaya step'. — M.: Ehksmo, 2008.
5. Voloshin M.A. Lyubov' — vsya zhizn': Stikhotvoreniya. Perevody. Stat'i. Vospominaniya o Maksimiliane Voloshine. — Simferopol': DI-AJPI, 2008.
6. Lyusyij A.P. Krymskij tekst v russkoj literature. — Spb.: Aletejya, 2003.

8. Булгаков М.А. Собр. соч.: В 5 т. — М.: Худож. лит., 1989—1990.
9. Булгаков М. Дневник. Письма. 1914—1940. — М.: Совр. писатель, 1997.
10. Булгаков С.Н. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. — Орел: Изд-во ОГТБК, 1998.
11. Соколов Б.В. Сергей Булгаков и Михаил Булгаков // Два Булгакова. Разные судьбы: В 2-х кн. — Кн. 1. Сергей Николаевич. — М.; Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2002. — С. 247—253.
12. Панченко А.М. Русская история и культура: Работы разных лет. — СПб.: Юна, 1999.
13. Малышкин А.Г. Избр. произведения: В 2-х т. — М.: Худож. лит., 1978.
14. Новиков В.В. Михаил Булгаков — художник. — М.: Московский рабочий, 1996.
15. Немцев В.И. Произведения Михаила Булгакова в аспекте литературных связей. — Самара: Изд-во СамГПУ, 2002.
16. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4-х т. — М.: Прогресс, 1986—1987.
17. Толстой А.Н. Собр. соч.: В 10 т. — М.: Худож. лит., 1982—1986.
18. Морозов И.А. Из рязанского этнодиалектного словаря: «Похороны таракана» // Живая старина. — 1996. — № 4. — С. 4—6.
19. Канунникова И. Мотив картежной игры в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» и песне М.А. Булгакова «Бег» // «... Главный светоч нашей литературы» / Сб. под ред. Н.П. Пищулина. — М., 1999. — С. 99—108.
20. Смелянский А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. — М.: Искусство, 1989.
7. Belozerskaya-Bulgakova L.E. Vospominaniya. — М.: Khudozh. lit., 1989.
8. Bulgakov M.A. Sobr. soch.: V 5 t. — М.: Khudozh. lit., 1989—1990.
9. Bulgakov M. Dnevnik. Pis'ma. 1914—1940. — М.: Sovr. pisatel', 1997.
10. Bulgakov S.N. Avtobiograficheskie zametki. Dnevnik. Stat'i. — Орел: Izd vo OGTVK, 1998.
11. Sokolov B.V. Sergej Bulgakov i Mikhail Bulgakov // Dva Bulgakova. Raznye sud'by: V 2-kh kn. — Кн. 1. Sergej Nikolaevich. — М.; Elets: EGU im. I.A. Bunina, 2002. — С. 247—253.
12. Panchenko A.M. Russkaya istoriya i kul'tura: Raboty raznykh let. — SPb.: Yuna, 1999.
13. Malyshekin A.G. Izbr. proizvedeniya: V 2-kh t. — М.: Khudozh. lit., 1978.
14. Novikov V.V. Mikhail Bulgakov — khudozhnik. — М.: Moskovskij rabochij, 1996.
15. Nemtsev V.I. Proizvedeniya Mikhaila Bulgakova v aspekte literaturnykh svyazej. — Samara: Izd-vo SamGPU, 2002.
16. Fasmer M. Ehtimologicheskij slovar' russkogo yazyka: V 4-kh t. — М.: Progress, 1986—1987.
17. Tolstoj A.N. Sobr. soch.: V 10 t. — М.: Khudozh. lit., 1982—1986.
18. Morozov I.A. Iz ryazanskogo ehtnodialektного slovary: «Pokhorony tarakana» // Zhivaya starina. — 1996. — № 4. — С. 4—6.
19. Kanunnikova I. Motiv kartezhnoj igry v povesti A.S. Pushkina «Pikovaya dama» i p'se M.A. Bulgakova «Beg» // «... Glavnyj svetoch nashej literatury» / Sb. pod red. N.P. Pishhulina. — М., 1999. — С. 99—108.
20. Smelyanskij A.M. Mikhail Bulgakov v Khudozhestvennom teatre. — М.: Iskustvo, 1989.



Урюпин Игорь Сергеевич,

доктор филологических наук,
доцент кафедры русской литературы
XX века и зарубежной литературы
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина

Uryupin Igor S.,

Doctor of Philology, Associate Professor at the Department
of Russian 20th century Literature and Foreign Literature
I.A. Bunin Yelets State University

E-mail: isuryupin78@mail.ru



В.Д. Серафимова

Классика и постмодернизм: «Чапаев» Д. Фурманова и «Чапаев и Пустота» В. Пелевина К 90-летию выхода в свет романа Д.А. Фурманова «Чапаев»

В постмодернистском романе «Чапаев и Пустота» В.О. Пелевин сознательно опирается на цементирующую ткань классического романа «Чапаев» Д.А. Фурманова, создает свой виртуальный мир, смешивает реальное и придуманное, вероятное. Пелевинский Чапаев предстает как декодированный образ Чапаева Фурманова. Роман Фурманова воссоздает светлый образ Героя Гражданской войны, уверенного в том, что воюет за народное дело. Замысел же пелевинского романа очевиден — отучить читателя воспринимать серьезно историю своей страны, приучить воспринимать ее иронично, чем и объясняются смешные склейки, ирония и игра, приоритет эмоций над семантикой, смыслом, предпринятые «культовым писателем» в своем романе.

Ключевые слова: классика, постмодернизм, гуманизм, преемственность, интертекстуальность, виртуальная реальность, пастичи, солипсизм.

In his postmodern novel "Chapayev and the Void" V. Pelevin consciously starts and departs from D. Furmanov's classic novel "Chapayev", and creates his own virtual world, by mixing the real and the imaginary. Pelevin's Chapayev appears to be decoded image Furmanov's Chapayev. Furmanov's novel recreates Chapayev as a hero of the Civil War, fighting for the people's cause, whereas Pelevin's novel aims at teaching the reader to interpret Russia's history ironically. For this reason the "cult writer" applies funny pasting, ironical puns and play on words the priority of emotions over semantics.

Keywords: classics, postmodernism, humanism, continuity, intertextuality, virtual reality, pastiche, solipsism.

В 2013 г. отмечается 90 лет со дня публикации романа Д.А. Фурманова «Чапаев» (1923), ставшего классикой советской литературы и послужившего материалом для постмодернистских «игр» современного писателя В.О. Пелевина, воспринимаемого рядом читателей как культовая фигура [1. С. 392].

Сопоставление прозы классика советской литературы и постмодерниста позволяет нам выявить, как, вооружаясь постмодернистской эстетикой, беря за основу первичное, кромсая канонический текст, постмодернисты создают вторичное, устанавливают приоритет эмоционального над семантикой, абстрагируются от реальности, уводя в виртуальный мир и порой нарушая гуманистические традиции русской литературы, отучают читателя серьезно воспринимать историю страны.

Отметим, что постмодернистские тенденции с особой силой проявляются в творчестве В. Пелевина в романах «Чапаев и Пустота» (1996); «Жизнь насекомых» (1997), «Generation «П» (1999); «ДПП (NN) (Диалектика переходного периода из Ниоткуда в Никуда)» (2003), в рассказах «Проблема верволька в средней полосе» (1998), «Бубен верхнего мира» (2002), в повести «Желтая стрела» (1993), «Бэтман Аполло» (2013) и др. В своих произведениях Пелевин рисует фантазийный мир, создает интертекстуальное пространство, используя множество других текстов, образов, демонстрирует игру со словом. К его прозе применимо определение виртуальная реальность, умозрительное представление о действительности. Теоретик постмодернизма, журналист, писатель, критик В.Н. Курицын в предисловии к книге Пелевина «Жизнь насекомых» так определяет понятие «виртуальность»: «Виртуальность — это не искусственная реальность, а отсутствие деления реальностей на истинные и иллюзорные»¹.

В романе «Чапаев и Пустота» (1996) Пелевин также создает виртуальный мир, предается играм, смешивая реальное и придуманное. Сознательно и расчетливо он опирается на цемнтирующую ткань классического романа «Чапаев». Как коммунист, Д. Фурманов получил назначение в 25-ю дивизию, которой командовал Василий Иванович Чапаев. Комиссару Федору Клычкову, прототипу Фурманова в романе, предстояло вникать в военные дела, чтобы вести воспитательную работу в дивизии, осознать «чапаевскую ситуацию» — понять и найти понимание со стороны начальника дивизии, начдива Чапаева. В процессе развития сюжета Фурманов показывает, что комиссар Клычков вел свою деятельность пропагандиста как с политически незрелыми красноармейцами, так и с самим командующим дивизией. Для него Чапаев, «...как орел с завязанными глазами: сердце трепетное, кровь горяча, порывы чудесны и страстны, неукротима воля, но... нет пути, он его ясно не знает. Не представляет, не видит. И Федор взялся хоть немножко осветить, помочь ему и вывести на дорогу» [2. С. 95—96].

«Художественным исследованием», «изучением феномена социума и общественной и человеческой психологии» («Масса была героическая, но сырая...») точно обозначил целевое назначение книги Фурманова известный литературовед и философ Г.Д. Гачев, верно трактуя функцию рассудочного комиссара при Чапаеве: «При этой “сырой массе” Чапай — огонь и нерв, вспыхивает и потому нужен как вождь. Чапай — огонь и пожар, а при нем требуется остуда и вода рассудка, что и выполняет комиссар Клычков: холодный ум при огне эмоций. Ум Чапая и характер — детский, и соображения его о мире — совсем мифологические» [3. С. 361—362]. Клычков отмечает перемены в мыслях Чапаева, высказанные им откровенно как результат раздумий о своей судьбе и окружающих его людей: «Не буду лукавить, прямо скажу — мнение о себе развивается такое, что, вот, дескать, не клоп ты, каналья, а человек настоящий, и хочется жить настоящему-то как следует...». Чапаев — в романе Фурманова истинно народный герой. Писатель создает образ «легендарной личности», превосходно знавшей всю свою дивизию — ее бойцов, ту местность, где разворачивались военные операции, пользующуюся любовью у жителей станиц, командира человечного и открытого, поющего перед утренним боем вместе с солдатами любимые песни «Ты, моряк, красив собою...», «Сидит за решеткой в темнице сырой...». С болью и горечью автор повествует об утратах, о погибших в бою, о мифах, рожденных в связи с именем Чапаева.

¹ Вячеслав Курицын. Группа продленного дня (предисловие) / Пелевин В. Жизнь насекомых. — М.: Вагриус, 1997. — С. 7—20.

Пелевин вводит в свой роман много действующих лиц, которых нет в произведении Фурманова. Вместо девятнадцатилетней Маруси Рябининой, павшей в ожесточенной атаке, вместо Петьки Исаева, до последнего патрона прикрывавшего переправу Чапаева через реку и застрелившегося после гибели командира, Пелевин вводит образ Анки-пулеметчицы и Петра Пустоты. Герои романа живут и действуют в нескольких реальностях. В романе общаются Чапаев, Котовский, белый барон Юнгern, поэт В. Брюсов читает стихи в литературном кабаре, прозаик А. Толстой сидит рядом с ним. В виртуальном пространстве романа с Пустотой встречается актер Шварценеггер, «просто Мария». Герой романа Петр Пустота пребывает в состоянии «между» реальностью и фантазией, жизнью и литературой, сном и явью, сознанием и подсознанием, между происходящим и кажущимся. Он бежит от чекистов в одной реальности, видит об этом сон в другой, принимает участие в сеансе гипноза, является пациентом сумасшедшего дома, не может найти общий язык с революционной реальностью. Как не похож на реального героя Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева, да и на героя романа «Чапаев» Фурманова пелевинский Чапаев, оказавшийся «одним из самых глубоких мистиков». При первом знакомстве с Петром Пустотой он поражает интеллигентной манерой разговора, гипнотической силой глаз и превосходной игрой на рояле: *«Что же до меня, то я очень люблю Моцарта. Когда-то я посещал консерваторию и готовился к карьере музыканта»* [4. С. 92], — сообщает он о себе главному герою при знакомстве.

Пелевин предоставляет своему протагонисту право в художественной форме пропагандировать идеи солипсизма² — философской концепции, согласно которой реальный мир, окружающий нас, существует как иллюзия, плод нашего сознания. *«Все, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька, — напуган пелевинский Чапаев Петра Пустоту. — Мы находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде».*

Пелевинский Чапаев предстает как герой из анекдотов, откровенная пародия на фурмановского Чапаева, представленного как бесстрашный герой, мудрый командир, человек порядочный и благородный. Беря за основу этот канонический образ, постмодернистский автор Пелевин «идет следом», по образному выражению Арсения Тарковского, «как сумасшедший с бритвою в руке», кромсая «первичное», в данном случае фурмановский текст, создавая «вторичное», «вооружаясь» постмодернистскими приемами скепсиса и игры. Мистификация в романе усиливается и от того, что Пелевин прибегает к скандинавской мифологии, к первой песне «Старшей Эдды» с ее защитным символом «Молота Торы», бросаемого на неведомого врага. Пелевинский Чапаев помогает Петру Пустоте осознать иллюзорность окружающей действительности, возможность «разрушить сцепку надежд, мнений и страхов», называемых жизнью, судьбой, и сопоставляемых Пустотой с «магическим молотом Торы».

Показательно то, как Пелевин обыгрывает в романе образ поезда. По сигналу Чапаева, как только он «щелкнет пальцами», мистический персонаж «башкир» поднырнет под перила поезда и быстро начнет «перебирать в темноте над сочленениями вагонного стыка» [4. С. 113]. Часть поезда, нагруженного красноармейцами-ткачами; будет отцеплена, ивановские ткачи, едущие в поезде, смогут избавиться от непреклонной судьбы. Следует отметить, что образ поезда как символа жизни-судьбы, являющегося сквозным в прозе

² От лат. Solus — один, единственный и ipse — сам.

Пелевина (впервые этот образ появился в повести «Желтая стрела» (1993), вызывает явные аллюзии с образом поезда в произведениях А. Платонова.

В «Чевенгуре» (1927—1930; первая публикация в 1988) поезд символизирует надежду на новую жизнь и гибель веры. В начале романа «безымянные люди», без жалобы переживавшие мучения революции и терпеливо бродившие по степной России в поисках хлеба и спасения, «надеялись на поезд, который увезет их в лучшее место» [5. С. 84]. В «Ювенильном море» (1934; опубликовано в 1986) значение понятий «поезд», «паровоз» расширяется. Герои размышляют о правильности пути, прибегая к образу паровоза: «...новый паровоз тоже сам себя сначала не тянет, пока не обкатается...» [6. С. 64]. Побывав в Чевенгуре, в котором «...жизнь находится в разложении на мелочи, и каждая мелочь не знает, с чем ей сопериться, чтобы удержаться», «сокровенный герой» Платонова Саша Дванов отвергает мысль о правильности выбранного пути, прибегнет к образу паровоза: «Я раньше думал, что революция — паровоз, а теперь вижу, нет» [5. С. 370]. Такое же наполнение получает образ паровоза в пьесе «Высокое напряжение» (1931; опубликована в 1984) [7]. Персонаж пьесы инженер Жмяков во время аварии на заводе, танцует, припевает, одновременно манипулируя с лампами на пульте: «Их паровоз летит вперед, а нам всем — остановка» [8].

Пелевин и здесь использует прием «игры», иронизирует над многоплановым образом поезда в прозе А. Платонова.

Постмодернизм, о котором А. Солженицын отозвался как о «натужной игре на пустотах»³, приемы этого стиля, направленные на развенчание общепринятых положений о реальности, знании, истине⁴, наиболее заметно проявляются в 9-й главе пелевинского романа. Вместе с Чапаевым и Анкой Петр Пустота погружается в метафизическую реальность; поверив во внушаемые Чапаевым формулы: «Любая форма — это пустота... Пустота — это любая форма. <...> Ну вот мы и пытаемся переплыть Урал, которого на самом деле нет. <...> Мы то становимся им, то принимаем формы, но на самом деле нет ни форм, ни нас, ни даже Урала. Поэтому и говорят — мы, формы, Урал» [4. С. 384—385].

Сопоставим два финала в проанализированных произведениях. В финале романа Фурманова чапаевцы отступают от «наступающей казацкой лавы» к обрыву, чтобы спастись, переплыв бурный Урал и спасти своего командира. Чапаев ранен в руку. Петька Исаев все время рядом с командиром. Его решили спасти «— Спускай его на воду! — крикнул Петька». И все поняли, кого («его») надо спускать. Отчаянно борются чапаевцы за жизнь комдива. «Вот кинулись все четверо, поплыли. Двоих убило в тот же миг, лишь только коснулись воды. Плыли двое, уже были у самого берега — и в этот момент хищная пуля ударила Чапаева в голову. Когда спутник, уползший в осоку, оглянулся, — позади не было никого: Чапаев потонул в волнах Урала... А Петька остался на берегу до конца и, когда винтовка стала не нужна, выстрелил шесть нагановских патронов по наступавшей казацкой цепи, а седьмую — в сердце. И казаки остервенело издевались над трупом этого маленького рядового, но такого славного благородного воина».

Роман Фурманова воссоздает светлый образ героя Гражданской войны, убежденного в том, что он воюет за народное дело. Автор прослеживает историю страны, учит читателей историческому мышлению. Замысел же пелевинского романа, на мой взгляд, соответствует

³ Солженицын А. Ответное слово на присуждение литературной награды Американского национального клуба искусств. Нью-Йорк. 1993. 19 января // Новый мир. — 1993. — № 4. — С. 5.

(Solzhenitsyn A. Otvetnoe slovo na prisuzhdenie literaturnoj nagrody Amerikanskogo nacional'nogo kluba iskusstv. N'ju-Jork. 1993. 19 janvarja // Novyj mir. — 1993. — № 4. — S. 5.)

⁴ Derrida J. Of Grammatology. — Baltimore, 1976.

неизменному постмодернистскому дискурсу: переосмысление идей, форм и моделей поведения, доставшихся от предущих времен. С прошлым истории страны Пелевин расстается с иронией.

Урок Чапаева Петьке в романе Пелевина предстает в виде внушения основ солипсизма как крайней формы субъективного идеализма, в которой несомненной реальностью признается только мыслящий субъект, а все остальное объявляется существующим лишь в сознании индивида. Такая философия постмодернизма опирается на выводы Соссюра, что смысл каждого элемента (знака) определяется исключительно в результате его отношения к другому элементу. А исходного, изначального и внеязыкового (внесистемного) смысла элемент не имеет.

Чапаев, в романе Фурманова преследуемый наступающими казаками и утонувший в волнах Урала, в романе Пелевина, прежде чем броситься в «радужный поток», абстрагируется от реальности и скажет молодым Петьке и Анне, что в этой вечности надо себя *«чем-то занять. Ну вот мы и пытаемся переплыть Урал, которого на самом деле нет. ... Я называю его условной рекой абсолютной любви. Если сокращенно — Урал»*.

Характерные особенности прозы Пелевина верно обозначил критик А.С. Немзер: «Пелевин всегда склеивал сюжет из разрозненных анекдотов — то лучше, то хуже придуманных (взятых взаймы в городском фольклоре, американском масскульте, у братьев по цеху). И всегда накачивал тексты гуманитарными мудростями. Буддизм, теории массмедиа, юнгианство, структурный анализ мифа, неомарксизм, кастанедовщина — кучу модных заморочек «перепёр» он на «язык родных осин» [1. С. 393].

Между реальностью и фантазией, нормативным и абсурдным пребывают герои многих произведений писателя. Поистине, постмодернист Пелевин прибегает к приему «эстетской игры», чтобы породить «вальсирующего человека, который бежит от всякой серьезности и реагирует лишь на то, что сейчас модно» [11].

Надо отметить, что удачно экспериментируя с литературной формой, в своих произведениях он не выходит за рамки устоявшихся общепринятых этических норм. Хотя постмодернизм базируется на гносеологическом, этическом и эстетическом нигилизме, отдавая предпочтение жизни «без истин, эталонов и идеалов»⁵. В. Пелевин чутко реагирует на веяния эпохи, на настроения в обществе по отношению к недавнему прошлому. Василий Чапаев — советский миф о народном герое, но и герой советских анекдотов, поэтому и в литературе допустима деконструкция этого образа. К тому же, сегодняшнее время строительства капитализма располагает к отрицанию, иронии над ценностями прошлого, в том числе и революционными идеями, коммунистическими идеалами. Но в то же время образ солдата, героя Великой Отечественной войны — святой образ и общественное мнение не позволяет насмехаться над ним. В. Пелевин чтит подвиг советского воина и это он четко демонстрирует в рассказе «Бубен Верхнего Мира» [9].

Рассказ балансирует между мистикой, абсурдом, запредельными мирами и реальностью. В. Пелевин и здесь использует прием ремейка, переделки известных сюжетов классической литературы на современный лад. Сюжет сознательно строится на мотиве мошенничества «мертвыми душами» из одноименной поэмы Н.В. Гоголя (1842). Замысел пелевинского рассказа нам видится в глубоком прочтении самого гоголевского романа, а также всей критической литературы, писем, записей в дневниках писателей — современников Гоголя. Как видно из рассказа, Пелевин, воспринимаемый в современном литературном процессе

⁵ Bauman Z. Intimations of Postmodernity. — London, 1992. P. IX.

«как культовый писатель», не смог пройти мимо оригинальной человеческой и творческой индивидуальности Гоголя, обойти вниманием слова А.И. Герцена, записанные им в дневнике 11 июня 1842 г. с оценкой гоголевской книги — *«горький упрек современной Руси, но не безнадежный»*, и *«удалую, полную сил национальность»* и *«грусть в мире Чичиковых»*, и *«утешение в вере и в уповании в будущее»*. Бесспорно одно — собственные раздумья Пелевина о жизни в современной России, пронизанные стремлением к гармоничным формам бытия, наследуют Н.В. Гоголю, хотя и выражаются в рамках постмодернистской эстетики.

В рассказе Пелевина почетный оленевод, орденоносная шаманка Тыймы, не умеющая говорить по-русски, преобразается, приехав на станцию с символическим названием Крематово. Она начинает говорить по-немецки, вызывает из «пустоты», из «Нижнего мира» мертвецов, погибших во Вторую мировую войну немецких летчиков, женихов для русских девушек. Расчетливая, деловая Таня вместе с менее прагматичной, даже сентиментальной, подругой Машей «пристраивают» знакомых девушек, выдавая их замуж, «прирабатывают» на этом (*«сейчас ведь время такое, каждый прирабатывает, как может»*). Таня признается русскому майору Звягинцеву, «оживленному... усопшему с трофейного самолета», «клиенту», «бубну с Верхнего Мира»: *«Мы советских не тревожим. Это из-за самолета так вышло. Мы думали, там немец. <...> Гражданство-то остается. Мы с таким условием оживляем, чтоб женился. Обычно немцы бывают. Немецкий труп у нас примерно как живой негр из Зимбабве идет...»* [9. С. 104, 105].

От мистики, абсурда писатель приходит к выявлению морально-этических проблем, к обсуждению нравов современной молодежи. В диалоге Тани с майором Звягинцевым смысловые акценты расставлены очень четко. На его «строгий вопрос» — «Не жалко их?» — Таня проявит голый практицизм и цинизм. Ведь в погоне за материальным ей *«думать некогда»*: *«Есть закон земли и закон неба. Проявишь на земле небесную силу, и все твари придут в движение, а невидимые — проявятся. Внутренней основы у них нет, и по природе они лишь временное сгущение тьмы. Поэтому и недолго остаются в круговороте превращений. А в глубинной сути своей пустотны, оттого не жалею <...> А вообще, если честно — работы столько, что и думать некогда»*.

Как иносказание прочитывается рассказ Пелевина «Бубен верхнего мира». Прежде чем исчезнуть, уйти в овраг, «над которым разлилось еле видное радужное сияние», уйти в свой «домик с участком, где тихо и хорошо», герой войны, летчик Звягинцев подарит понравившейся Маше «дудочку из камыша», со словами: *«Ты как от этой жизни устанешь, так приходи к моему самолету. Поиграешь, я к тебе и выйду»*.

Поэтика рассказа, особенно в финальных строках, очень насыщена. Здесь и эпитет «радужное» как определение к библейскому мотиву «сияние», под которое посылает автор рассказа своего героя «на покой» (ассоциации с финальными строками романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»), и мотив «игры на дудке», пришедший от пьесы «Гамлет» У. Шекспира (1601).

Ценность рассказа, на наш взгляд, в образе участника Великой Отечественной войны, майора Звягинцева, заслужившего и «свет, и покой», с честью воевавшего, чтобы завоевать победу, и несущего жизнеутверждающее начало, оптимистичное отношение к жизни. Ценность — в нравственном уроке, посыле, преподнесенных им персонажам рассказа, как юным девушкам, особенно Тане, так и старшему поколению. О том, что урок не прошел напрасно, говорит и последнее предложение рассказа: *«Маша смотрела в окно, сжимая в кармане подаренную майором Звягинцевым камышовую дудочку, и напряженно о чем-то думала»* [9. С. 109] (выделено — В. С.). Напряженное размышление Маши и придает рассказу оптимистичную ноту.

Заключение

Сопоставление романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» с романом «Чапаев» Д. Фурманова, по сути, устанавливает взаимоотношения между миром фантазии и миром реального.

Два разных произведения на одну тему несут разную философию: модернизма и постмодернизма.

Несмотря на фантазийность и виртуальность сюжета, роман В. Пелевина не асоциален. Если классическая реалистическая литература отражает социальные явления, происходящие в обществе, то постмодернистский роман характеризует его социальное состояние. С одной стороны, современное общество требует переосмысления старых традиций и установок, а с другой — человеку требуется уйти от проблем, убежать от соблазнов навязчивой рекламы, корпоративной этики и прочего.

Это желание отражается в стремлении жить в созданном фантазийном мире. Например, Д. Винникотт, английский психиатр, отмечает, что переход от фантазматических «объектных отношений» к реалистическим возможен только в условиях определенной уверенности, доверия к окружающему пространству⁶.

В отсутствие эстетических критериев, сотканная из цитат, постмодернистская литература предлагает самостоятельную игру пастишей и аллюзий (исторических, литературных). Если классическое литературное произведение четко соблюдает границу между иронией и серьезным, то в постмодернизме эта граница размыта, и читатель, как правило, остается в недоумении — где пародия, а где искренний, подлинный текст, поскольку, как отмечал Ж. Лиотар, в искусстве постмодернизма отсутствует «изначальная», «исходная», «краеугольная», «базовая» идея, принцип.

Что касается самой эстетики постмодернизма, то сошлемся на мнение критика Н.Н. Какшто: *«Мир в эстетике постмодернизма воспринимается как текст, организованный по принципам нонселекции. Возникает впечатление фрагментарного текстового хаоса. Произведение — лишь часть бесконечного художественного текста мировой культуры, не результат творческих усилий автора, а процесс постоянного диалога различных языков культуры, взаимобмена их на всех уровнях»* [12. С. 206]. Постмодернистский текст демонстрирует абсолютную неустойчивость, относительность, которая проецируется на относительность мира.

Постмодернистский роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота» вызвал, как и большинство его произведений, неоднозначную оценку в современном литературоведении. Нужно ли было иронизировать над народным героем Чапаевым, которого породила Гражданская война?

Сам Фурманов, оценивая историческую личность своего героя, писал: *«Чапаев был хорошим и чутким организатором того времени, в тех обстоятельствах и для той среды, с которою имел он дело, которая его породила, которая его и вознесла! Во время хотя бы несколько иное и с иными людьми — не знали бы героя народного, Василия Ивановича Чапаева!»* Для поднятия боевого духа населения во время Великой Отечественной войны на стенах домов висели плакаты художников Кукрыниксов со стихами: «Бьемся мы здорово! Колем отчаянно! Внуки Суворова, дети Чапаева!». На плакате Кукрыниксы изобразили бойцов Красной Армии, а за ними силуэты Чапаева, Суворова и Александра Невского [10].

Литературовед В. Рокотов в статье «Чапаев и пустота» оценивает роман В. Пелевина как «эстетический терроризм»: *«...книгу эту навязывали русскому обществу фанатично <...>. Издателям пришлось добиваться своей цели поистине героическими усилиями, потому что*

⁶ Винникотт Дональд. Игра и реальность. — М., 2002.

это произведение бездарное. Его литературная ценность, как все понимали, строго равна нулю, а вот политическая представлялась огромной. На сцену выходил русский постмодернизм. И надо было во что бы то ни стало навязать его интеллигенции. Нужно было запудрить мозги той части общества, где формируется социальный актив. Интеллигент, подсевший на такую литературу, уже ни к чему не отнесется серьезно. Он обречен воспринимать историю и современность иронично, вспоминая смешные склейки, сделанные модным писателем... В этом и состоит цель — не позволить ничего осознать» [11. С. 5].

Однако не надо забывать, что роман В. Пелевина был написан на переломе эпох и констатирует утрату реальности, которую мы потеряли в тот период. Автор делает читателя свидетелем череды кризисов: сначала демонстрируется исчезновение «объективной реальности», затем растворяется и субъект познания — собственно личность, оставляя нас наедине с пустотой. Достаточно вспомнить строки стихотворения Петра Пустоты из романа «Чапаев и Пустота»: «но в нас горит еще желание, к нему уходят поезды, и мчится бабочка сознания из ниоткуда в никуда». Пытается ли постмодернист Пелевин найти ориентиры в образовавшейся пустоте? Да. Это любовь и нравственность. И в этом мы видим преемственность традициям гуманизма классической литературы.

Литература

1. Немзер А.С. Замечательное десятилетие русской литературы. — М.: Захаров, 2003.
2. Фурманов Д.А. Чапаев. Роман / Д.А. Фурманов. А.С. Серафимович. Н.А. Островский. Избранные сочинения. — М.: Художественная литература, 1989.
3. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Курс лекций. — М.: Academia, 1998.
4. Пелевин В. Чапаев и Пустота: Роман. — М.: Эксмо, 2013. — 416 с.
5. Платонов А.П. Чевенгур. Котлован. Рассказы. — М.: Эксмо, 2008. — 752 с.
6. Платонов А. Ювенильное море: Повести. Роман. — М.: Современник, 1988. — 560 с.
7. Серафимова В.Д. Пьеса А. Платонова «Высокое напряжение» в контексте его прозы и драматургии // Писатель и время: Формы диалога: Материалы 15-х Шешуковских чтений / Под ред. Л.А. Трубиной. — М.: Интеллект-Центр, 2010.
8. Платонов А. Высокое напряжение / А. Платонов. Ноев ковчег: Пьесы. — М., 2006.
9. Пелевин В. Бубен Верхнего Мира. Рассказ / Проза новой России. В 4-х томах. Т. 3 / Составитель-редактор Е. Шубина. — М.: Вагриус, 2003. — 429 с.
10. Емельянов Ю. Учить историческому мышлению // Литературная газета. — 2013. — № 25—26.
11. Рокотов Валерий. Чапаев и простота. Дискуссия: «постмодернизм: 20 лет спустя» // Литературная газета. — 2012. — № 29.
12. Кякшто Н.Н. Русский постмодернизм // Русская литература XX века. Школы, направления, методы творческой работы / Под ред. С.И. Тиминой. — СПб.; М., 2002.

References

1. Nemzer A.S. Zamechatel'noe desjatiletie russkoj literatury. — M.: Zaharov, 2003.
2. Furmanov D.A. Chapaev. Roman / D.A. Furmanov.A.S. Serafimovich. N.A. Ostrovskij. Izbrannye sochinenija. — M.: Hudozhestvennaja literatura, 1989.
3. Gachev G.D. Nacional'nye obrazy mira. Kurs lekcij. — M.: Academia, 1998.
4. Pelevin V. Chapaev i Pustota: Roman. — M.: Eksmo, 2013 — 416 s.
5. Platonov A.P. Chevangur. Kotlovan.Rasskazy. — M.: Eksmo, 2008. — 752 s.
6. Platonov A. Juvenil'noe more: Povesti. Roman. — M.: Sovremennik, 1988. — 560 s.
7. Serafimova V.D. P'sea A. Platonova «Vysokoe naprjazhenie» v kontekste ego prozy i dramaturgii // Pisatel' i vremja: Formy dialoga: Materialy 15-h Sheshukovskih chtenij / Pod red. L.A. Trubinoj. — M.: Intellect-Centr, 2010.
8. Platonov A. Vysokoe naprjazhenie / A. Platonov. Noev kovcheg: P'sy. — M., 2006.
9. Pelevin V. Buben Verhnego Mira. Rasskaz / Proza novoj Rossii. V 4-h tomah. T. 3 / Sostavitel'-redaktor E. Shubina. — M.: Vagrius, 2003. — 429 s.
10. Emel'janov Ju. Uchit' istoricheskomu myshleniju // Literaturnaja gazeta. — 2013. — № 25—26.
11. RokotovValerij. Chapaev i prostota. Diskusija: «postmodernizm: 20 let spustja» // Literaturnaja gazeta. — 2012. — № 29.
12. Kjaksho N.N. Russkij postmodernizm // Russkaja literaturaXX veka. Shkoly, napravlenija, metody tvorcheskoj raboty / Pod red. S.I. Timinoj. — SPb.; M., 2002.

**Серафимова Вера Дмитриевна,**

кандидат филологических наук, профессор
кафедра русской литературы и журналистики XX—XXI веков
Московский педагогический государственный университет

Serafimova Vera D.,

Candidate of Philology, Professor
Department of Russian Literature & Journalism of XX—XXI centuries
Moscow State Pedagogical University

E-mail: serafimova@yandex.ru



Richard Tempest

«War is Existence Itself» Representations of the Authorial Self in Aleksandr Solzhenitsyn's

(Ричард Темпест. «Вы — как будто вжились в войну»
Репрезентации авторского «я» в рассказе
А. Солженицына «Желябугские выселки»)

В статье рассматриваются авторские, автобиографические и диегетические пласты смыслов в двухчастном рассказе А. Солженицына «Желябугские выселки», с учетом структурной бинарности и историко-публицистического содержания произведения.

Ключевые слова: Солженицын, «Желябугские выселки», текстуальный анализ, Вторая мировая война, маскулинность, военная проза, деревенская проза.

An analysis of the authorial, autobiographical and diegetic layers of meaning in Aleksandr Solzhenitsyn's two-part tale "Zhelyabuga Village," with reference to the text's structural binarism and its historical and polemical content.

Keywords: Solzhenitsyn, "Zhelyabuga Village," explication de texte, World War II, masculinity, military prose, village prose.

As a textual construct, "Zhelyabuga Village" (1996) may be the most heterogeneous of Solzhenitsyn's post-exilic binary tales. Part One is a fictionalized account of the writer's wartime experiences in and around the eponymous hamlet in the summer of 1943, Part Two is a polemical memoir of his visit to the same place some fifty years later. The element of formal binarism is stark, for this work relies on a double fictive transformation. Real-life people, including the empirical author, appear first as literary characters but subsequently, after half an hour of discourse time and half a century of story time, assume a new status as defictionalized material witnesses in the here-and-now of the 1990s. Both sections are narrated in the first person, which provides a degree of diegetic continuity across these two generically dissimilar, conjoined pieces of prose. The conjunction in question turns on a patriotic homily delivered at the end of Part One by a Red Army commissar to a group of peasants: "...All our things that the Germans destroyed, we'll rebuild. Our land will sparkle even more than before. There'll be a *fine* life for us after the war, comrades, the like of which we've never seen" [1. P. 213]. Alas, it was not to be, for in Part Two we find a few ragged villagers who have survived the intervening decades engaged in dolorous discourse with the historical Aleksandr Solzhenitsyn, 76, amid the accumulated poverty of Soviet and post-Soviet misrule.

The autobiographical hero of Part One, Sasha, is a young lieutenant with a reconnaissance artillery unit who after four days of hard fighting is in a state of "joyous exhaustion" [1. P. 172], thrilled

to be a part of the Red Army's victorious advance following the Battle of Kursk. For much of the text, however, the narrative focus lies elsewhere, on the manner in which the officers and men in the sound-ranging unit, a specialized branch of the artillery, go about their martial business. There are numbers of "how-it-is-done" passages in which the military details, some of them highly technical, are carefully correlated with the mental and physical demands that these reconnaissance gunners must face. "Each listening post has four or five men, and they have a lot of heavy equipment to carry. A single storage battery is enough to throw off your entire shoulder; they usually need eight reels of cable, and sometimes more than ten..." [1. P. 177]. Moreover, this is a Russian army, with a "Russian way" [1. P. 190, 199] of fighting that is familiar to us from *War and Peace* and *The Red Wheel*, even if corrected for the realities of mechanized warfare. A truck drives at speed over a minefield, with Sasha holding on for dear life, because "switching to any of the side roads meant a long detour" [1. P. 190].

We are told little of the hero's past and nothing about his appearance, though we learn that he is a chain smoker. Nevertheless, Sasha's personality and physical self play a central part in the fictive proceedings: unlike, say, the equally autobiographical Ignatich in "Matryona's Home," he is a protagonist in the true sense of the word. If war is 99% boredom and 1% terror, Sasha's day at the front is 99% hard slog, though he also experiences *his* 1% of bone-chilling dread when a Nazi bomber bears down on him out of "spite or revenge" [1. P. 196]. He also witnesses one of his men suffer a mortal wound and twice feels the (undeserved) wrath of superior officers who threaten him, respectively, with being sent to a punishment battalion and summary frontline justice ("I can do whatever I like with you" [1. P. 200]).

Young Sasha is a mixture of things. A veteran soldier, in some ways he is still very callow. He is a committed communist, though perhaps not a card-carrying one. His bookish politics recall young Gleb Nerzhin's Marxist conceits in *Love the Revolution*, as we discover when the hero informs his best friend, Ovsyannikov, in suitably fervent tones, "... We'll keep on blasting them, and then — into Europe like a spring uncoiling. After a war like this, there's bound to be a revolution, don't you think? It's straight out of Lenin" [1. P. 188]. And yet, Sasha's love of country is unmediated by the dialectic: "... You could die without regrets for this Russian heartland" [1. P. 174]. Above all else, he is a *warrior*. Though a trained mathematician, he does not always go by the numbers when directing his guns: "It's best not to make corrections, just give it a volley and scare the shit out of them!" [1. P. 199].

As for Sasha's unit, it is a collection of lightly sketched bodies, personalities, and relationships. In army friendships, rank tells: the two men he is closest to are both officers, "open hearted" Lieutenant Ovsyannikov, who is "like a brother" [1. P. 186], and platoon commander Lieutenant Kuklin, "a sweet-tempered young fellow with the face and the stature of a boy" [1. P. 179], whom he mentors. Major Boyev, a much-decorated battalion commander, and Lieutenant Proshchenkov, Sasha's counterpart in Four Battery, possess an "unyielding solidity" in their jaws and shoulders that reflects "a masculine strength" [1. P. 208]. These indicators of martial physiology complement the protagonist's own body-centric sensations that day.

The rank-and-file soldiers depicted include "stocky little Burlov" [1. P. 177], "the imperturbable Siberian, Yermolaev" [1. P. 178], "Shukhov, a quick and capable fellow" [1. P. 178], "dark, sullen Volkov" [1. P. 178], "gloomy, freckle-faced Yemelyanov" [1. P. 178], "thin, agile Dugin" [1. P. 180], "saucy Yenka" [1. P. 181], "plump little Pashanin" [1. P. 182], "tall, stolid Lyakhov" [1. P. 182], "fine-looking," bright-eyed" [1. P. 186] Ptashinsky, "sharp-eyed" [1. P. 198] Konchits. The laconic descriptions are the narrative equivalent of name, rank, and serial number. Others in this unit of 60 men are mere names. Here and there the narration, which constantly shifts between the modes of descriptiveness and discontinuity, includes snippets of dialogue or glimpses of (living) body parts such as Pashanin's "hairy chest and back" [1. P. 182] or Lipsky's "soft white hands... on the ribbon of paper spread out across the table" [1. P. 198].

As the story unfolds some of the secondary characters come into focus, among them “short and swarthy” Andreyashin [1. P. 184], a newly minted conscript with family in still-occupied Oryol a few miles away, whom he hopes to look up once the city is liberated. Another soldier, Shmakov, is a deserter from an anti-tank unit who “couldn’t take the close combat” [1. P. 178] but has performed well since joining the battery: a mini-biography that throws an unexpected light on wartime practices in the Red Army. The battery’s political officer, Kochegarov, he of that uplifting lecture to the Zhelyabuga peasants, got his appointment because he was a driver for the regional party committee before the war. As this detail suggests, the ideological ex-chauffeur is surplus to military requirements. Then there are those staples of war fiction, the tough sergeant who is “a capable manager” [1. P. 175] and the “regimental mascot,” Mitka Petrykin, a boy adopted by the battery when it passed through the town of Novosil, which had been “completely flattened by the war” [1. P. 173]. Another figure familiar from countless novels and movies is Private Pugach. A lawyer in civilian life, he “can always find some loophole to get him the easier jobs” [1. P. 181].

The disconnect between the in-the-trenches experiences of the men doing the fighting and the generals in their HQ is nicely delineated, as when the narrator remarks that nighttime offers the optimal conditions for sound reconnaissance. “The people higher up have never taken this rule into account, though. If they had any sense, they’d have us move by day, not by night” [1. P. 180]. Another effective element is the attention paid not just to what veteran troops do, but what they don’t do. When sighting a Focke-Wulf 189 reconnaissance plane, nicknamed “the picture frame” because of its distinctive twin-boom design, the Russian flak holds its fire because “they always manage to dodge the shrapnel” [1. P. 177], and Sasha’s gunners have “long since stopped wearing gas masks and just toss them all in the back of the truck” [1. P. 177].

Unlike the World War I campaigns in East Prussia (*August 1914*) or Poland (*November 1916*), this is fully mechanized warfare that is fought in all three dimensions. Iconic Russian and German war machines such as the IL-2 Stormovik, the Katyusha rocket launcher, and the Ju-87 Stuka sow death on the battlefield. The latter is vividly animated: “As always, you can see his front wheels that seem to be reaching out for you like talons; he lets loose the bomb that falls like a droplet from his beak” [1. P. 196]. Another Stuka swoops down on the hero himself (“a huge crash,” “scorching heat,” “a terrible noise in my head” [1. P. 196]), and then the two aircraft fly away: “...They have their own lives to lead, up there in the sky, one racing after the other, and the sky now is no longer concerned with the earth below it” [1. P. 197]. The tone, but not the reality, is recognizably Tolstoyan.

Soon after Sasha has that near-death encounter, Andreyashin is mortally wounded by a German shell:

Cherneykin... is carrying something... He’s holding it well away from himself
so as not to soil his clothes.
Is that a leg he’s carrying?
It is a leg, from the knee down, still in a boot, with a tattered puttee flapping
[1. P. 201–202].

The stress of command and the tension of battle, compounded by a lack of sleep, put the protagonist into a fugue state.

The hours flow by, and from all the racket, the confusion, and the trying to do three things at once, the extreme strain under which you’ve been working begins to sink you into torpor. Your whole being seems to be in fog; your head feels swollen, both from the lack of sleep and the effects of the shell bursts that haven’t yet passed; your head droops, your eyes are red. It’s as if the various parts of your brain and your soul have been torn to pieces and will simply not move back to their proper places” [1. P. 205].

The text abounds in place names and topographic references: the protagonist is a gunner with a gunner's eye for the lie of the land. The Soviet side of the frontline has been cleared of the local inhabitants "out of fear of treachery" and is "without a living soul, no crops planted, and the fields overgrown with weeds as in the time of the Polovtsians" [1. P. 174] (an oblique expansion of the text into the historical past), but the fields around Zhelyabuga, which until recently was held by the Germans, are cultivated and a few of the locals have stayed put. This gladdens Sasha's patriotic heart: "It's very odd and very cheering for us to see living Russian peasants..." [1. P. 174].

Like most of Solzhenitsyn's fictions, Part One features at its center an open space/closed space dichotomy, the field of battle vs. a cellar in Zhelyabuga. In that subterranean locus, where the local villagers have sought refuge from the fighting, Sasha establishes his forward post. Here the vectors of military operations and civilian survival intersect. Clustered in this dark, dank place are a few women, an old man, a couple of children. Such are the wartime demographics of the Russian countryside. In the cellar Sasha meets a peasant girl with an unusual name, Iskiteya, whom the other villagers call Iskorka (Little Sparkle). This rustic beauty is blonde, curly-haired, voluptuous: "Her dress is tightly belted at the waist but is quite full above and below" [1. P. 194]. Pert and saucy, Iskorka fends off a soldier's gruff advances as well as Sasha's elaborate officer-and-gentleman attentions. Also hiding in the cellar is a ten-year old boy who buried his schoolbooks because he refused to study while the Germans occupied the village: a child's act of sacrifice that stands in cross-textual contrast to little Nastenka's inhumation of the paper icon in the eponymous story.

Sasha's day of "madness and stupefaction" [1. P. 209] ends with a few rounds of drinks in the battalion staff truck. The occasion is Major Boyev's 29th birthday. A toast is offered: "...For you, war is existence itself, as if you have no existence outside of war. So, may you live through all this..." [1. P. 210]. Boyev is "astonished" [1. P. 210] by this unconventional salutation, the author of which is, of course, Sasha, for whom the tough major is the embodiment of martial masculinity, down to his last name which means, serendipitously, "fighting man" [1. P. 208]. In Solzhenitsyn, we know, *nomen est omen*, a name is an omen. Like that other unconventional birthday party in *The First Circle*, the celebratory minutiae are a function of the celebrants' life situation: a pair of towels that serve as a tablecloth, an unlabeled bottle of vodka, cans of American sausages and Russian fish, a mixture of glasses and tin mugs. The set piece in the back of the truck includes one of those beautifully modulated dialogues at which Solzhenitsyn excels. After the toasts, the tired officers talk about the enemy "with passion, though not with hatred. That's just for the newspapers" [1. P. 210]. They discuss the likelihood of a Second Front and go over the day's fighting. But soon the party is over and Sasha repairs to the cellar, where he overhears the battery commissar issue his promise of a radiant future to the Zhelyabuga peasants.

As a factual rather than fictional production, Part Two resists a philological explication de texte. That said, it is a discrete component of a literary whole, a polemical piece of writing that centers on the themes of lost youth, memory, poverty, and environmental degradation, and is pervaded by a sense of entropy. This section of the story is built round the familiar twentieth-century topos of a return visit by a war veteran to the battlefields of his youth. The opening lines connect this discrete unit of current-affairs reportage to the literary prose of Part One on the plane of authorial and character identity, and national history:

And so fifty-two years later, in May 1995, I was invited to Oryol for the commemoration of the fiftieth anniversary of Victory Day. Vitya Ovsyannikov and I (Vitya was now a retired lieutenant colonel) were fortunate enough to drive and walk over the routes of the 1943 offensive, from the Neruch, from Novosil, and from out station at elevation 259.0 to Oryol [1. P. 213].

Solzhenitsyn's memory circuit begins with a visit to Novosil where he meets Mitka, the teenage adopted by his unit. He is now Dmitry Fyodorovich Petrykin, a grizzled paterfamilias who brings his children and grandchildren to pose for photographs with the world-famous author. After that Ovsyannikov and Solzhenitsyn, accompanied by a couple of local officials, travel by jeep (another iconic machine — "jeeps hadn't changed much over the last fifty years" [1. P. 216]) to Zhelyabuga.

The inter- /intra-textual relationship between the story's two sections is complex. In the opening pages of Part Two, as well as some subsequent passages, the author goes back in time to the events of July 1943, thereby adding to the fictionalized war record in Part One and confirming its basis in fact. We learn, for example, that one of Solzhenitsyn's men was killed in the service area at Hill 259.0 when he went there to have a sore treated; that the German trenches were comfortably appointed and contained veritable rooms of earth and logs that had windows and planted flowers, though these underground chambers gave off a "doggy smell" [1. P. 215] from insect powder (smells very rarely feature in Solzhenitsyn's fictions); that a dugout where Solzhenitsyn had been just 10 minutes earlier suffered a direct hit and two soldiers inside it lost their lives. On occasion these digressions into the author's personal past extend to the months and years after the combat at Zhelyabuga, an instance of what one might term a diegetic past pluperfect. Ovsyannikov recalls "that Prussian night" [1. P. 222] in the winter of 1945 (the subject of the tale *Adlig Schwenkitten*; 1996) when Private Shmakov, the semi-deserter mentioned in Part One, was killed.

When the two friends reach the village, they discover that it is a ruin, the unrepaired devastation of war compounded by the effects of time: "The street was no longer a street but merely a few islands of houses; and it was no longer a road, either: its center was grown over with weeds..." [1. P. 216]. A rural slum much like the ones depicted in Chapter 44 of *The First Circle* (the immediate post-war period) and "Matryona's Home" (the first year of the destalinization campaign), and another textual confirmation of the pre-modern poverty of the Russian countryside, damned to desuetude by twentieth-century history. Seeking out familiar landmarks, the author's eye moves over the misshapen dwellings and broken agricultural equipment, though he sees no trace of the cellar: the spatial dichotomy of Part One is now broken. The two veterans pick up a cluster of lilies of the valley, walk past the spot where Andreyashin lost his leg, and eventually encounter two shabby old women basking in the spring sun. (For the careful reader, the flowers the men are holding, though unmentioned anywhere else in Part Two, add an element of incongruity to the scene that follows. Or is it that the two old soldiers left them at the place where Andreyashin suffered his mortal wound?) One of the "grannies" [1. P. 219] is dressed in a workman's padded jacket and shoes of felt and rags, the other wears an odd garment of black velour. Solzhenitsyn inquires about her age; she is seventy. When the author, awkwardly making conversation, remarks that he is five years older, she replies, "Somehow you don't look it... Our folks don't walk about much after seventy, they have to crawl!" [1. P. 220]. In modern Russia, ambulatory ability is a marker of social class.

It turns out that the woman in black is Iskiteya, but when the author excitedly recalls their meeting in the cellar all those years ago, she is unmoved: "Well, I forget what I need to forget" [1. P. 220]. There are no cries of recognition, no shared remembrances. But if on this occasion Solzhenitsyn's wartime acquaintance displays indifference, a few minutes later things change. On their way back the author and his companion, now joined by the two administrators, once again come across Iskiteya and her friend, as well as four other women and a senile old man. The villagers, Iskiteya included, address the visiting group with a litany of complaints about food supplies, government benefits, and pensions. Although the officials make soothing noises and promise to help, the reader is left with the firm impression that nothing will get done, just as nothing was done for the Zhelyabuga residents in the five decades after the war. As the senior of the two functionaries puts it, Moscow should not be

bothered “with things like this, absolutely not” [1. P. 230]. Part Two, and the story as a whole, ends on this note of administrative neglect and rural degradation. This reader, at least, was left to wonder what constitutes the baser act: a propagandist’s canned promise of future happiness, or the state’s unconcern for the most helpless and poor among its subjects.

References

1. Solzhenitsyn A. Apricot Jam and Other Stories. — Berkeley: Counter Point, 2011.



Ричард Темпест — профессор Отделения славянских языков и литературы Иллинойского университета (США), автор статей и книг о русской литературе и истории, а также романа «Золотая кость» (М.: изд-во «Новое литературное обозрение», 2004), вышедшего под псевдонимом Роланд Харингтон. В настоящее время заканчивает исследование о художественных произведениях Солженицына.

Richard Tempest is a professor in the Department of Slavic Languages and Literatures at the University of Illinois. He is the author of books and articles on Russian literature and history, as well as a novel (writing as Roland Harrington), *Golden Bone* (Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2004). He is currently completing a study of Solzhenitsyn's literary works.

E-mail: davout697@gmail.com



Sabine Broeck

One More Trip To the Quarters

Uncle Tom's Cabin Revisited With Toni Morrison

(Сабина Брёк. **Снова в рабских бараках**

Поход в хижину дяди Тома в компании

с Тони Моррисон)

В статье рассматривается знаменитый абolicционистский роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». Опубликованный первоначально в нескольких серийных выпусках абolicционистской газеты в 1851 г., спустя год после принятия закона о беглых рабах, роман не только внес свою лепту в горячие политические споры, инициированные абolicционистами в годы, предшествовавшие Гражданской войне в США, но, по сути, в большой мере определил эту полемику. После десятилетий феминистских установок на «культурную работу» литературного текста, стало возможным снова оценить по достоинству четкость основных позиций романа, его жанровое многообразие, как и непреодолимую сентиментальность в действительно серьезных вопросах. Статья фокусируется на противоречии между феминистской и абolicционистской искренностью ранней Бичер-Стоу, боровшейся против рабства, и ее же расизмом, проявившимся в отказе наделить чернокожих персонажей способностью к действию.

Ключевые слова: Гарриет Бичер-Стоу, рабство, Тони Моррисон, афроамериканская литература, абolicционизм, текстуальная культурная работа, феминизм.

The article looks at Harriett Beecher Stowe's famous anti-slavery novel *Uncle Tom's Cabin*. Published first in serial installments in an anti-slavery paper in 1851, one year after the passing of the Fugitive Slave Law, the novel not only joined in the heated political controversy the abolitionist movement had instigated in the pre-Civil War United States, it defined its terms to no small extent. After decades of feminist instruction about the "cultural work" of fiction it has become possible again to appreciate the novel's articulateness, its genre-rich versatility, and its overwhelming sentimentality in terms other than trivia. The article focuses on the tension between, on the one hand, Beecher Stowe's early feminist and abolitionist sincerity in her propagandistic fight against slavery, and on the other hand, her white racism in her refusal to grant her black characters an agency of their own.

Keywords: Harriett Beecher Stowe, slavery, Toni Morrison, African-American fiction, abolitionism, textual cultural work, feminism.

I begin at the end, with a quote from Beecher Stowe's "Concluding Remarks" to *Uncle Tom's Cabin* (hereafter UTC), a chapter that functions as her immediate address to her contemporary readership, unabashedly and shrewdly political, elegantly oratorical, a masterpiece of persuasion in

its own right: an address that is not so much a writerly postscriptum as a call to mental arms, as it were. Beecher Stowe literally projects the American future, calling the entire American civitas to moral task lest social and individual doom will haunt the nation for generations to come. I quote:

Nothing of tragedy can be written, can be spoken, can be conceived, that equals the frightful reality of scenes daily and hourly acting on our shores, beneath the shadow of American law and the shadow of the cross of Christ. <...> But what can any individual do? There is one thing that every individual can do — they can see to it that they *feel right* [2. P. 404].

To feel right — a concept which we should not in all too facile manner dismiss as sentimental convention, as the mere fancy of a passively harbored emotion but rather accept as an explicitly active, even aggressive engagement with the despicable status quo of slave trade and chattel slavery — to make her audience feel right, by all means necessary, is what *UTC* is all about. Published first in serial installments in an anti-slavery paper in 1851, one year after the passing of the Fugitive Slave Law, the novel not only joined in the heated controversy the abolitionist movement had instigated, it defined its terms to no small extent.

The book still (or should we say again?) holds its readers in thrall. Unexpectedly, when I taught the novel last year, students came to me after class, privately, somewhat embarrassed to “confess” to have spent their nights in tears upon finishing their reading. But now we have gotten beyond an attitude of Hawthornesque detached contempt for the ‘mob of scribbling women’ — an attitude that had mutated into a quite finely drawn academic line safeguarding the *study* of serious matter, as in literature with a capital L, against the *occupation with* trivia, as in women’s writing or whatever happened to fall out of reach of ‘The Serious’. So, by now, we should not be easily put off by the tears. After decades of feminist instruction about the “cultural work” of fiction, to use Jane Tompkins’ by now notorious phrase, we have come to appreciate, without guilt, the energy of the novel’s articulateness, its genre-rich versatility, its overwhelming ability, in other words, to move its readers to tears, and to *feel right*. Certainly, Roland Barthes did not have *Uncle Tom’s Cabin* in mind when he introduced the useful and apt concept of the writerly text, a text that by its very intricacies, its contradictions and fullness keeps calling for successive re-readings and thus demands of the reader to write on in his or her imagination; but to me, the novel qualifies beautifully.

For those of you who haven’t shed secret tears recently, I will recuperate the plotlines in very rough manner: A Kentucky slave owner, Mr. Shelby, finds himself in severe debts and decides to sell two slaves to save his plantation; faithful, strong Uncle Tom and beautiful mulatto Eliza’s child Henry are to be deposed down river. Tom resigns himself to his fate as the devout Christian believer he is, Eliza takes her child one night and runs. Her husband before God, if not before American law, radically independent minded George Harris, another mulatto, also flees his master’s humiliation. Through the help of benevolent white people, most of all the Quaker family name of Halliday, they are re-united as a hardworking, exemplary family in Canada after a vexing series of trials and tribulations; eventually they end up settled in Liberia. Tom, after having first lived for a while with the St. Clare family in New Orleans and having enjoyed the friendship of his owner Augustine St. Clare and of the family’s gorgeous little daughter Eva, has to suffer Eva’s death from tuberculosis. He is sold at slave auction after St. Clare’s sudden death by accidental murder in a café, before his soft-hearted master can bring himself to write his free papers. He undergoes a ‘Middle Passage’ as the pertaining chapter is aptly called, into the possession of a veritably gothic embodiment of the gruesome slave owner, Mr. Legree. Eventually, he dies — a determined non-violent resister — of a whipping at Legree’s hands, refusing to betray his fellow slave Cassy, and to thus surrender his soul. His former owner Shelby’s son arrives too late to reclaim him and to set him free, as promised, but swears to the dying Tom to free all his slaves instead. Which he does and then continues to work his

farm with them as free laborers, teaching them “how to use the rights [he gave to them] as free men and women” [2. P. 399] not forgetting to give humble credit to Uncle Tom’s sacrificial death, which inspired him to his humane deed.

There are instructive plot sidelines like the fate of Cassy, scornful slave of Legree who in an act of lethal rebellion manages to get away from the horror of his abuse and turns out in due course of the plot, to be not only somehow descended from aristocratic ancestors but also to be Eliza’s mother and as such spirited by the plot to finally embrace daughter and grandchild. Or the story of Topsy, the prototypical ‘pickaninny’, half comical — half threatening in her untouched blackness, being saved into goodness by saintly Eva’s love and by the practically successful, if somewhat resistant ownership and education program of stoutly Christian Miss Ophelia who appears in the plot as embodiment of New England virtue, but also hypocrisy, herself reformed by her maternal care for Topsy.

Leslie Fiedler’s claim that, “for better or worse, it was Mrs. Stowe who invented American blacks for the imagination of the whole world” [6. P. 26] may have been somewhat grandiose, but American culture, indeed, could not be imagined without its most enduring icon. 50 000 copies were sold within eight weeks upon publication as a book in 1852, 300 000 within a year, and 1 million in America and Europe combined by early 1853. The story survives to this day worldwide in more or less bad translations and simplifications of children’s versions. Eric Sundquist summarizes the impressive list of Uncle Tom items in his introduction to a recent collection of *New Essays on Uncle Tom’s Cabin* listing, besides popular films and an avalanche of hundreds of “Tom shows”: “The melodramatic apotheosis <...> appeared in consumable artifacts — dioramas, engravings, gift books, card games, figurines, plates, silverware and needlepoint” [9. P. 4]. As readers will know, American idiomatic language has been saturated with “uncle tomming”. Popular and literary rewritings and anti-texts have ranged from the early 20th century racist film *Birth of a Nation* through *Gone With the Wind* to Richard Wright’s *Uncle Tom’s Children* or Ishmael Reed’s satire *Flight To Canada*. Reverberations are still detectable in black writing today: both, *Beloved* and *The Color Purple*, for example take up themes and unresolved questions from *UTC*.

The feminist rediscovery of the work in the 1980s sparked a small renaissance of the novel in criticism, ranging from Sundquist’s aforementioned collection through Hortense Spillers’s contribution to a late 1980s session of the English Institute on “Slavery and the Literary Imagination” to a 1994 anthology on *The Stowe Debate*. Like a prism, the debate about *UTC* has refracted cultural, social and political tidings in the United States: its influence was as palpable upon its appearance (— helping to foster public sentiment against the Confederacy in the build-up to the Civil War) as it was in the post Civil Rights Movement anger of black men. James Baldwin, for one, in “Everybody’s Protest Novel” [1] with little exaggeration and no patience at all, attacked Stowe for having robbed the black man of his sexuality and humanity in the public gaze of an entire century.

My paper, now, will consist of moves of reconstruction and deconstruction. I will first talk about *UTC*’s enormous energy and determination to reform American society, however much that sense of purpose might be framed in terms of the Sentimental. I will then go on reading the novel in terms of the political effects of its melodramatic machinery in relation to the text’s radical articulations. In a third step, I want to show how Toni Morrison, in her 1980s novel *Beloved* [8], has taken up the issues Stowe stirred up so successfully and has re-written the old text, but with a twist.

Taking Care of Slavery: A First Class Kitchen Act

UTC’s most programmatic momentum of domesticity is generated, literally, in Rachel Halliday’s kitchen, even though white Mrs. Shelby in her secret support of Eliza’s flight, and little Mrs. Bird in

her successful manipulation of her husband's week spots to also side with the beautiful quadrone may figure here as cautionary embodiments of Beecher Stowe's particular brand of benevolent, active domesticity. How different Stowe's sentimental notions were from her sister Catharine Beecher Stowe's imperial designs in *Treatise on Domestic Economy, the founding text of American domesticity as ideology*, becomes triumphantly clear in *UTC's* celebration of Quaker calmness and dedication. Domesticity, in this setting, has nothing to do with either decorum, or with Victorian propriety as we know it. Rather, the overwhelming peace and contentment radiating from Rachel's hearth has a purpose outside the self-congratulatory, self-serving order and discipline of much 19th century domestic domain. The dictum of not to idle, at all costs to avoid shiftlessness — both demands being the utter absolutes in Miss Ophelia's righteous new England catechism — transforms, under the maternal gentleness of a model homemaker like Rachel, into the ample individual and social productivity of hospitality, shared work and even distribution of nourishment, mental and physical.

This ideal community, moreover, is not focused unto itself, but rather thrives on its sense of humane purpose: its resourcefulness and fearlessness bodied forth in their support of black runaways. The chapter is Stowe's declaration of love not only for the character of an old, wise and gentle woman but for an alternative society that preaches a gospel beyond the patriarchal and mercantile interest that dominated American society at large. Simon Halliday's „anti-patriarchal operation of shaving“ is thus only partially a neat domestic joke, it also functions metaphorically as some serious inversion of power. An ethics of communal gift and sharing, rather than individual wanting and taking underlies this germinal locus of anti-American activities like sitting down on equal terms and eating with black people as well as helping them escape to Canada. The Rachels and Simons, in Stowe's contention, are the models upon which a domesticated American society should be re-formed. The corruption and moral decay of a white society sullied by its implications in the trade with and subjugation of fellow human beings may be overcome, if Americans would learn to accept the spiritual and physical empowerment generated by the complex harmonies of Rachel's home.

The flipside of this cleaning-up-act, however, appears as soon as we enter the black cook Dinah's kitchen in the St. Clare's mansion. A deep ambivalence tinges the narrator's judgment of the black woman: her domestic maternalism does not allow for an understanding of black agency, which would lay outside her religious providential order. An order to which Dinah's genially self-willed independence, her “leave me nigger alone attitude” as to white governance is diametrically opposed [2. P. 185 ff.]. It never occurs to the narrator that Dinah's “shiftlessness” might have a strategy, that bloodied silk handkerchiefs and nutmeg pieces in dinner tableware drawers might mean anything else than mental confusion, lack of organization or lazy disinterest. The narrator never asks herself the question why in the world a slave could be expected to keep their master's kitchen spotlessly spick and span in order? Or if Dinah's scorn of “I don't want ladies around, a'hennering and getting my things all where I can't find them” [Lbid. P. 191] could and would be anything else than bad education by a disinterested, spoilt and lazy Southern belle like Marie St. Clare! St. Clare himself in his unromantic gaze on the feudal plantation system, comes a lot closer to the matter, seeing as he does that violent submission would be the only means to keep slaves from using every possible opportunity to undermine an imposition of order, since it was not in their interest to keep precision of time or place for a class of masters indulging leisure on their very backs, literally [2. P. 195 ff.].

Here domesticity gets run into its white ground, as it were; the consequence of Stowe's narrator's arguments collapses into racism. To hold up Tom as a “moral miracle” [2. P. 195] against Dinah is the point where the narrative betrays Stowe's own particular political purposes: her white woman's salvational perspective needs the cooperation of an Uncle Tom to perfect her maternal scheme; it has to dispense with the competitive irritation of black female independent, untouchable, unteachable and unimpressed ways of resisting white order. Stowe, we could say, not only little Eva, does want him! And her interest his quite oedipal.

In her narrative, 'Negroes' are like children, and the measure to judge them is their simplicity of purpose, their impressiveness of mind, their willingness to improve, but not necessarily to mature into too independent a hero, and their ability to emulate good white female ways (at which point they deserve Stowe's supreme compliment). The equation is that those childlike Negroes' stories need Stowe's authority just as much as children need motherly guidance.

At least that is what the plot implies — with complications arising from the fact that the novel's argumentative expositions offer entirely different and at times contradictory points of view. Which presently brings me to my second part:

George Harris, who?

The plot's workings on its black characters result in a strangely eroticized combination of appropriation and devotion. Stowe wants him: using the black body of Tom, who is, of course, but a representation of countless other black men, innocently childlike by the wits of the "romantic racialism" that dominated the abolitionist movement, as George Fredrickson has convincingly demonstrated. The narrator confidently assumes his plight in her own articulation, like a good mother will do for her son. The vision of humane relations between white and black people borne by the plot and its favored protagonists is a combination of Rachel Halliday's mature maternal wisdom, her sheer incredible capacity to organize and harmonize, and Eva's supposedly innocent desire to own her human environment in her selfless love [2. P. 255 ff.].

One of the moments most significant for Stowe's ambivalence has thus arrived when Eva embraces Topsy, to physically transport the black child with her love out of the status of sinful wickedness — to Ophelia's utter disbelief and disgust, we must say. St. Clare intervenes: "If we want to give sight to the blind, we must be willing to do as Christ did, — call them to us, and *put our hands on them*" [2. P. 258]. Now, on the one hand, this scene reveals the rather severe implications of white benevolence and an almost unbelievable hubris by way of its allegorical equation of Negro and blindness. On the other hand, we cannot afford to overlook the scandal in the notion of "putting our hands on them": a touching the black body in tenderness — utterly inconceivable even for the most advanced liberally minded white audience, figures as the ultimate taboo. To be able to break it even within the confines of racist ideology, attests to the far-reaching reformist implications of Stowe's literary scheming.

The novel's best hidden strength is that *UTC* contains — in all connotations of the word — the most advanced insinuations and arguments against the system of chattel slavery; the ideological influences of the Communist Manifesto, the revolutionary egalitarianism of Europe's uprisings, and the looming threat of the Haitian rebellion of Toussaint L'Ouverture's troops (Republican rhetoric; Southern abolitionist Angelina Grimké's feminism — these rather secular components are as strongly represented as is the text's religious momentum. Stowe's decision for a sentimental plot and the characterizations appropriate to it, however, privilege her own Christian fervor as much as her motherly schemes. To reach the audience she wanted: all white American mothers, at least, she had to write a text that cannot but betray the titillating dynamics of its production for serial installments and absorbs all its own contrariness within its missionary zeal.

A most typical example of this containment is the chapter where Tom gets to know the old heartbroken slave woman "cross old Prue", who tells him of her misery — this rendering of her story by the one who suffered it should be commanding undivided attention from the reader for itself — the chapter's structure, however, envelops and thus transcends it: the readers are to be engrossed with Eva's serenity, intruding upon Tom's empathy "radiant with delight", only to turn the final attention of the chapter onto **her** heavy sighs and pale face [2. P. 199].

This chapter, like so many others, exemplifies that Stowe obviously capitalized on Angelina Grimké's and Theodore Weld's collected documents in *American Slavery As It Is*, on a series of slave narratives circulating in the abolitionist movement at her time, on the Cincinnati press information by and about black fugitives from the South, in sum: on a black discursivity that surrounded her in quite ample plenitude. Within her fiction, however, Stowe's one resisting radical, the same Harris of my subtitle whom a century-long history of public response has almost completely ignored — does not get permission by the plot to have any impact on his fellow slaves' destinies, nor on the abolitionist movement. In *UTC* it is the white Quaker family that teaches Harris' skeptical and alienated intelligence what home is, thus also leading him 'home' into religious belief. The Black Underground railroad, which in fact set standards for abolitionist white people to follow, if we only cast one glance at figures like Sojourner Truth or Harriet Tubman, does not figure in the novel. Harris, it seems, has to be de-routed by the plot: dispatched safely to Liberia, on a mission as imperialistically American as it might be called black and proud before its time — leaving the New Englanders and the slave holding South to themselves and to white women as Beecher Stowe. But then again, just look closely at what he actually gets to "speechify":

"Look at my face, — look at my hands — look at my body", and the young man drew himself up proudly, "why am I NOT a man, as much as anybody" (You hear Sojourner Truth Seneca Falls Speech?) <...> I'll fight for my liberty to the last breath I breathe. You say your fathers did it, if it was right for them, it is right for me. [2. P. 187] <...> I have no wish to pass for an American, or to identify myself with them. It is with the oppressed, enslaved African race that I cast my lot. <...> The desire and yearning of my soul is for an African nationality" [Ibid. P. 393].

Many critics, like Russ Castronovo, have recently argued that most of abolition's articulations kept morally and strategically referring to America's revolutionary past as virginal origin [4]. That, I contend, was not *UTC*'s severest problem, given its aggressive judgments on the very patriarchal and capitalist *inception*, not only *corruption*, of society. Stowe's trenchant indictment of American politics, South and North makes *UTC*'s statements rather avantgarde by comparison, even though Stowe frequently puts them in the mouth of ineffectual, melancholic observer St. Clare. So, while the George Washington in shrill colors above Tom's bed is wicked satire, the text's 'problem', to me, lies in its author's decision to render almost ineffective, by the authoritarian plot dynamics, the plurality and radical force of its arguments. In other words, *UTC* does offer a rather democratic tour de force of the entire debate on and against slavery and — by its very orchestration of the various points of view — it should be regarded as a masterpiece of political didacticism. But, while the novel abounds with scathingly ironical commentary, bespeaking utter disrespect for any national political loyalties in the strict sense, Stowe's pious mission generates that deadly serious entitlement which emplots her main characters in a providential design of commanding human death.

The sheer cathartic (for white audiences) voyeurism of emplotting Uncle Tom and the would-be-determined-abolitionist Eva in their own tear-jerking death (however effective a strategy this was vis-a-vis prospectively abolitionist whites) fixed black people, and white feminism, in the iconicity of the beautifully dead captive, tied to the innocence of a child ultimately powerless in the here and now; and it reduced possible white female solidarity to a sacrificial phantasy. This reduction did have the advantage of successfully warding off the threat of the miscegenative, erotic undertones of Eva's relationship to and with Tom. The outrage of having a white girl pronounce, without further qualification, "I want him!" (even though that sentence "only" involves Eva's command to her father to buy the black man) must be rendered harmless by having them posture for a Victorian audience as "the old child and the young one"; so that "their soul" [2. P. 136 ff.] — note the singular! — may rejoice in shared wonder at the glories awaiting them, without raising too much worldly suspicion.

A mature abolitionist woman, like Eva's namesake and very much alive Angelina Grimké neither fits into compelling melodrama, nor would a female character like her be commensurate with the Bible's claim: 'Thou has hid from the wise and prudent, and revealed unto babes'. Stowe's indebtedness to Angelina Grimké did not reach farther than incorporating Grimké's work into her novel; white Southern adulthood — judged by the contempt poured on Marie St. Clare, is always already morally compromised and impotent. Accordingly, Eva may only want to die for what she considers *her* poor people.

Of course, it is hard at this point, to fathom such a claim other than as a hysterical combination of innocence and fantasized omnipotence, as in "she had vague longings to do something for them — to bless and save not only [her slaves] but all in their condition" [2. P. 264 ff.]. And we also cannot but wonder at the recklessness which with Stowe and her 19th century audience could put children to a meaningful death. Within its contemporary context, however, Eva's spiritual fervor, her sacrificial sense of purpose must be seen in light of the fact that infant mortality was a more than common factor to shape families' lives. It seems then quite an intelligent solution on Stowe's part to capitalize on women's emotions ready at hand in their own recollections about children lost to sickness.

However, the options of solidarity between an adult Eva and Cassy (including maybe even Dinah, Rachel Halliday, Mrs. Shelby and Mrs Bird in the circle) have to be exempted from the text just as aggressively as George Harris's libertarian self-confidence and black manliness has to be escorted to Liberia. Look at Cassy — my subtitle might have also been Cassy, who? Any enduring agency in the real world of abolition, beyond her gothic machinations upon Legree, seems not to have been imaginable; she has to be absorbed by the plot as the happy quasi-aristocratic grandmother, content with her re-unified family.

While I do not intend to sneer at the rhetorical importance — for abolitionist purposes — to represent the immense joy of black families re-unified, put forward against both the material conditions preventing it, and the racist ideology that black people did not care for permanent attachments, and while I admire Stowe's consequence to not have Cassy punished for her indirect murder and other immoral actions, but to reward her instead with the gift of a family — I do question the plot restrictions Stowe felt compelled to put on this protagonist. Cassy, by force of her biography takes the most antagonistic and radical stance against slavery — having killed one of her children to prevent it from being owned and abused. Cassy's narrative, culminating in the dramatic "He sold me!" (he being her lover for several years and father of her children) compounded by: "He sold both those children!" [2. P. 333], her particular female complaint bespeaks Stowe's extensive knowledge of authentic black voices, even the female ones. To care, and dare to incorporate Cassy's story was appropriation, but also an authorial act rather more controversial than many male abolitionist writers' publications, who shied away from portraying sexual abuse of black women because of the Victorian propriety they felt bound to. As in so many other moments in *UTC*, the possibilities and options for a totally different novel are tangible, but Stowe decides not to expand them.

Sojourner Truth and Margaret Garner may have existed in real life, as have Frederick Douglass and countless other potential heroes of an abolitionist tale — and Stowe certainly knew of them — characters formed on their images would have, however, completely exploded both Stowe's plot design, and contingent on it, the maintenance of white discursive control over abolition. Cassy may go to the severest moral extremes a 19th century audience would follow, and she may even get away with it, but only in a plot owned by its blackness could she have also figured as an enduring public subject.

Thus, the real problem to me is not Uncle Tom, who has been quite unjustly accorded the fatal reputation of representing spineless and mindless subservience. Rather, it is rooted in the submission of all sincere characters, black and white, however much intelligence, courage, manliness

or female virtue they may and do muster to take care of their own immediate lives, to a plot driven by white melodramatic interest to keep them *separate* and *in check*. They are portrayed without the context of an organized black community, that might even assume leadership in the fight to end slavery, and they are not allowed to authorize their own destiny except on the safe shores of Africa or in purposeful death. George Harris may exist in the pages of the novel, and he may display to us great eloquence and a fulminant articulation of his period's most vexing contradictions, but he may not discourse with Cassy or Tom, Rachel or even Eva, may the plot forbid! The authorship of abolition, in the sense of its authority, rests completely with Beecher Stowe.

***Beloved*: Emancipation as Risk**

Morrison's point, by contrast, is not to argue for her characters humanity by sounding their goodness, but almost the opposite; by making them take responsibility for who and what they are. That way, she may have them embody "contrary instincts"; they do not have to be angels to figure in her text; and instead of dying a flawless martyr's death, they have to *deal with* the farthest limit of human possibility: a mother taking the life of her child. In the extremes of this story — a fictionalization of an actual case (Margret Garner) that was recorded in the annals of abolitionists' reporting — Morrison tries to sound the meaning and consequence of a question she asked at many Nobel prize readings: What does it mean to finally own yourself?

The novel takes of at a crucial crossroads of novelistic plotting and ethical challenge: a moment that Stowe saves herself and her readers from confronting by a most prototypical sentimental 'deus — ex-machina': Eliza manages to get away with her child (and the author's gift for her daring his a reunited family and personal peace) The one act of crossing the river successfully takes her out of the orbit of slavery. Morrison shows that crossing the river is only the beginning. By a strategy of cross-reading it becomes obvious that Morrison's characters in *Beloved* may all productively be positioned as skillful re-readings of the character (and plot) foils Stowe so pervasively familiarized:

- ◆ There are Cassy, a black version of the madwoman in the attic who may enjoy a free life by the sleight of her author's providence and beautiful good Eliza, magically saved — Elsa, a woman with a similarly brutalized personal background who has to liberate herself from her history by her own wits, self-respect and energy and Sethe, haunted by a history just like Cassy's that prevents her to enjoy freedom before she will have come to terms with her life as a slave and her self-willed murder as a free person.
- ◆ Eva, backing up Tom's sacrifice by her own death — Amy the whitegirl, making a black generation, appropriately and well (helped herself!).
- ◆ Rachel, the white redeemer — Baby Suggs, Sethe's mother-in-law, the black community enabler who is — despite her name — NOT holy in the sense of Rachel's teeming perfection.
- ◆ George Harris, in all his radicalism displaced to Liberia — Paul D, discovering what freedom and citizenship means in the domestic (in the sense of home and nation) realm.
- ◆ Topsy, perennial child to be saved by stern New England discipline — Denver, entering History on her own account, by attending a white college.
- ◆ Tom, the perfect martyr — Stamp Paid who does not die for others, but subversively schemes in the underground railroad without being elevated to heroic no-fault status.

Morrison's goal is to problematize a recognition of what personhood might mean: the option to *choose* between good and evil without the presence of an omniscient narrator/author who knows best as Mama knows best, as well as to *decide* for yourself what your ethical coordinates shall be — and force the readers into the same dilemma: Is the only choice Sethe had that between letting the family be abducted into slavery again and killing the children (and probably herself!), and if so,

what would you have done? This question is a challenge to all other characters in the novel, since they are all one way or another touched by Sethe's murder, and by the ghost of the dead child. Thus, the personal dilemmas the characters have found themselves in in their own respective biographies function as but a preparation for them, and for the readers. Do they (we) find it in their (our) heart not to leave let Sethe alone, but to help her free herself of history's ghosts. By taking her characters (and readers) to this moral watershed Morrison has almost aggressively deconstructed the Uncle Tom mythologies of selfless suffering, absence of subjectivity and agency and childlike trust in higher authorities (be it the friendly master, God or the author herself) that Stowe has planted in American cultural memory.

As I hope I have demonstrated, there is much more to Stowe's novel than meets everybody's immediate memory of being 'trivially' moved; accordingly, we should direct our attention to the fact that and why white Americans have, in their response to *UTC*, over and over again, accepted its offer to have the cake and eat it, as it were; to *feel right* and still to maintain domination and privilege. The American good-willing public needed iconographic embodiment of slavery precisely of *Uncle Tom's* kind, wanted to remember a white woman's discursive power rather than the slave narratives. The acclaim Morrison has won for her work attests to the change Black writing after the Civil Rights Movement, and *Beloved* most of all, has helped to effect. While Leslie Fiedler's could rightfully remark in *Love and Death in the American Novel* that: "of the complex novel created by Mrs. Stowe, America has chosen to preserve only the child's book" [5. P. 264], white and black audiences after the 1980s have been obviously willing not only to engage the 'inside' of the Middle Passage and slavery, and thus to lift the veil of white Victorian society's racist politeness but also to imagine a self-authored African-American agency reaching far beyond Stowe's prescriptions.

If abolition and the Civil War, for all its murderous effects, offered the American 'civitas' a chance to not only emancipate black people (in itself still a paternalistic gesture) but to relinquish discursive and material control and to accept African-Americans' self-authentication and subjectivity as sine-qua-non of any possible kind of American community, in its powerful iconicity *UTC* has worked against that impetus. If, as David Brion Davis in his *Slavery and Human Progress* has argued, "New World Slavery provided Protestant Christianity with an epic stage for vindicating itself as the most liberal and progressive force in history" [3. P. 129], Beecher Stowe provided some of the most crucial stage directions, assigning white abolitionist women a savior role — an act of both incredible hubris, and effectivity. Thus, even though weeping at *UTC's* impressive iconic power is neither ridiculous nor in and by itself a compromising move, we need to look at the text's legacy with dry eyes and novels like *Beloved* help to clear the focus.

But wait, I have a *post scriptum*: How do we read, in that context, the fact that Oprah Winfrey was able to popularize *Beloved* to literary stardom beyond anybody's wildest imaginations and made it a fantastically promoted movie recently? Is that a reason to rejoice, or does that only go to show that Americans still and again entertain a consumptive relationship to African-American's plight — so that black soul may be just as much a market commodity as black being was under slavery?

References

1. Baldwin, James. "Everybody's Protest Novel" Ammonds, ed. *UTC*, pp. 532—537.
2. Beecher Stowe, Harriett. *Uncle Tom's Cabin*, Elisabeth Ammons, ed., New York / London: 2010 (1852).
3. Brion Davis, David. *Slavery and Human Progress*, New York: Oxford UP, 1984.

4. Castronovo, Russ. "Radical Configurations of History in the Era of American Slavery". Michael Moon, Cathy Davidson, eds. *Subjects and Citizens*, Durham: Duke University Press, 1995, pp. 169—194.
5. Fiedler, Leslie. *Love and Death in the American Novel*, New York: Stein and Say Publishers, 1960 (1966).
6. Fiedler, Leslie. *The Inadvertent Epic: From UTC to Root*, New York: Simon & Schuster, 1979.
7. McDowell, Deborah and Arnold Rampersad, eds. *Slavery and the Literary Imagination*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.
8. Morrison, Toni. *Beloved*, New York: Knopf, 1987.
9. Sundquist, Eric. ed. *New Essays on Uncle Tom's Cabin*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
10. Tompkins, Jane. *Sensational Designs. The Cultural Work of American Fiction*. New York: Oxford University Press, 1989 (1985).

**Сабина Брёк,**

доктор филологии, профессор,
Бременский университет, Германия

Sabine Broeck,

Doctor of Philology, Professor
University of Bremen, Germany
American Cultural Studies /American Literatures and Cultures / Black
Diaspora /Gender

E-mail: broeck@uni-bremen.de



Н.Г. Иншакова

Редактор в сфере маркетинговых коммуникаций

В статье рассмотрена одна из ключевых тем теории и практики редактирования в свете изменений в издательском деле и медиапространстве. Обозначены тенденции, влияющие на взаимоотношения редактора и автора в сферах рекламы и связей с общественностью. Дана характеристика основных групп авторов, определены трудности работы с рекламными и пиар-произведениями в каждом конкретном случае.

Показана роль и социальная ответственность редактора как обязательного участника процесса маркетинговых коммуникаций.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, редактирование, редактор и автор в сферах рекламы и пиар.

The following work examines one of the main themes of editorial theory and practice regarding the latest changes in publishing business and media environment. It specifies the tendencies that have influence on the relationships between editor and author in advertising and pr-fields. This work characterizes main author groups, defines possible difficulties of working with advertisement and pr-creations in every specific case. It also shows editor's role and social responsibility being an inevitable participant of marketing communications process.

Keywords: marketing communications, editing, editor and author in advertising and pr-fields.

Изменения, произошедшие в российском издательском деле за последние десятилетия, стали серьезным испытанием для теории и практики редактирования. Процесс прохождения (термин Л.К. Чуковской [1]) рукописи в издательствах и редакциях СМИ трансформировался столь кардинально, что это не могло не повлиять на технологию, профессиональные установки и принципы работы редактора. Ряд рекомендаций редактирования как учебной и научной дисциплины кажутся сегодня утопией или анахронизмом¹, притом что традиционная методика предлагает наиболее рациональные приемы подготовки произведений к печати и распространению по любым медиаканалам. Это действительно комплексная система, изучение и освоение которой по-прежнему делает редактора профессионалом.

Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, основные проблемы теории и практики редактирования не только сохранили свою актуальность, но и приобрели еще большую остроту, хотя имеют совершенно иной контекст. Речь идет, например, об образовании и культуре редактора, его социальной миссии и функциях, об этике редакторского труда. С другой стороны, эти проблемы явно отодвинулись на второй план (в этом и состоит пара-

¹ К таким можно отнести, например, рекомендацию многократного чтения с конкретными методическими установками в условиях, когда на редактирование объемной рукописи в большинстве издательств отводится несколько дней.

докс), и исследовать и решать их не так уж обязательно, потому что специалисты (которых осталось совсем немного) не успевают адекватно реагировать на появление новых проблем, порождаемых социокультурными реалиями сегодняшнего дня. К числу насущных для современной практики можно отнести и тему привлечения редактора в сравнительно новые виды публичных коммуникаций, к которым, безусловно, относятся как интернет-среда, так и сферы рекламы и связей с общественностью.

Сказанное выше объясняет причины обращения к деятельности редактора в сфере маркетинга, в то время как различные аспекты организационно-творческой работы в издательствах и традиционных СМИ могут стать предметом основательных изысканий для целых научных коллективов.

Почти десять лет назад автором статьи был впервые поднят вопрос о необходимости участия редактора в оценке и подготовке рекламных произведений, создаваемых и распространяемых с помощью разных каналов и носителей [2].

Как редактор с почти сорокалетним опытом работы, участвовавший к тому же и в процессе копирайтинга, автор исходил из очевидных профессиональных постулатов: и в условиях формирования интегрированной медиасистемы, нацеленной на подготовку комплексного медиапродукта, редактор точно так же должен представлять интересы читателя, определять потребительскую релевантность того или иного произведения, нести ответственность за отбор и качество предназначенного к распространению контента. Он может стать полноправным участником процесса создания и обработки информации, доведения ее до целевой аудитории с учетом социально-функциональных задач каждого конкретного сообщения.

Отвечая за содержание рекламного и пиар-произведения, именно редактор в состоянии определить, насколько оно соответствует основным социальным критериям (добросовестности, честности, пристойности и др.), зафиксированным на законодательном и нормативном уровне, в профессиональных кодексах и решениях. Именно редактор контролирует маркетинговую состоятельность и эффективность сообщения, привлекая к оценке нужных для этого специалистов. Как и в традиционной издательской ситуации, редактор координирует действия участников процесса создания рекламных и пиар-сообщений.

Неудивительно, что сначала подобная позиция была неодобрительно или с удивлением встречена некоторыми представителями рекламного сообщества. Отмечалось, например, что «профессиональные редакторы иногда трактуют свои обязанности гораздо шире, порой посягая на самую суть работы создателей текста» [3. С. 272]. Подобное утверждение в мягкой форме можно оценить как незнание сути и задач редакторской работы. Ведь обязательность вмешательства редактора в предметную область предназначенного к публикации произведения (от проверки логичности рассуждений до обеспечения точности, достоверности, новизны, убедительности, доказательности фактов)² является одним из профессиональных канонов и главных требований методики редактирования.³

Безусловно, редактор, работающий с произведениями, создаваемыми в сфере маркетинга, должен иметь представление о принципиальном различии коммуникационных ориентиров рекламы и пиара; должен знать типологические особенности, в первую очередь специфику целевого назначения и читательского адреса, жанровое своеобразие этих произведений,

² См., например: Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. — М.: Логос, 2010. — 524 с.; Накорякова К.М. Справочник по литературному редактированию для работников средств массовой информации. — М.: Флинта-Наука, 2010. — 200 с.

³ Этот аспект редакторской работы также нуждается в переосмыслении, а споры по поводу вмешательства редактора в авторский текст могли бы составить основу сценария остросюжетного сериала.

требования к их композиции, языку и стилю. Это обязательные условия успешной работы редактора с произведениями любых видов литературы, и отсутствие профессионального образования в этих областях совершенно не мешает выполнять весь комплекс редакторских задач, как не мешало никогда [4].

Однако редактор рекламных и пиар-текстов наряду с объективными трудностями творческой работы вынужден преодолевать и те, что связаны со спецификой процесса создания рекламного и пиар-произведения. Можно без преувеличения сказать, что одной из главных проблем в маркетинговых коммуникациях для редактора становится проблема именно оценки произведения и взаимоотношений с авторами, которая и нуждается в изучении и комментировании.

*Р*еклама — это обычно оплаченная информация, и рекламодатель, являясь владельцем рекламного произведения, обычно выступает в двух ролях — заказчика и / или автора. Желание сэкономить и самовыразиться, отсутствие информации о «рынке» копирайтеров, незнание (непонимание) критериев оценки их квалификации — эти и другие причины часто побуждают рекламодателей сочинять рекламные тексты. Таким образом, редактор попадает в ситуацию двойной зависимости: даже если заказчик не пишет текст сам, он всегда точно знает, каким должен быть этот текст.

В сфере связей с общественностью согласно этическим нормам пиар-тексты должны публиковаться бесплатно. Два года назад ведущая всемирная ассоциация по связям с общественностью — IPRA запустила новый кодекс, состоящий из правил профессионального и этического поведения (своего рода заповедей), которые определяют социальную ответственность каждого пиар-профессионала. Но как бы там ни было, главным действующим лицом в пиаре является так называемый базисный субъект, который инициирует создание послания, а основным критерием оценки произведений — их соответствие интересам базисного субъекта. Отсутствие «платных отношений» и требования этики не меняют ситуацию для редактора.

Одной из своеобразных черт творческого процесса в сфере маркетинговых коммуникаций можно считать и скрытое авторство. Так, пиар-тексты создаются конкретным человеком или группой лиц, но никогда не выражают точку зрения автора. Поэтому текст, написанный копирайтером, сотрудником пиар-агентства или пресс-службы конкретной организации, для целевой аудитории важен не авторской позицией, а умением достичь цели коммуникации. (В некоторых случаях рекламные и пиар-тексты имеют прямое авторство, что необходимо, когда эффективность коммуникации напрямую зависит от авторитета лица, которое подписывает сообщение. Но на суть дела это не влияет.)

Запрет на вмешательство в текст оказывается в ситуации заказных, инициированных произведений вполне правомочным, хотя в рекламе, например, объектом исключительного права является совсем не текст обращения, а товарные знаки — логотип, эмблема, корпоративная или фирменная символика, слоган, фирменный знак, фирменная упаковка и другие зарегистрированные обозначения, выполняющие функцию «имени» товара или услуги [5].

Однако ограничение свободы действий редактора не только профессиональной установкой как можно меньше травмировать авторский оригинал и принятой этикой творческого взаимодействия, но и экономическими факторами — лишь одна из проблем работы редактора в сфере маркетинговых коммуникаций. Другая состоит в том, что и среди сотрудников рекламных и пиар-агентств и в собственных пиар-службах и департаментах рекламы конкретных организаций не так много качественных текстовиков, тех, кто понимает специфику функций этих текстов. «Сегодняшние рекламисты (это в определенной мере относится и к пиар-специалистам. — Н. И.) народ чрезвычайно разношерстный, и требовать от них сейчас чего-то такого, о чем они иногда даже представления не имеют, очень тяжело. Единственное, что

можно сделать, — это ... начинать формировать систему курсов для среды рекламистов», — так считают представители администрации органов рекламного саморегулирования [6].

«Разношерстность» рекламистов и пиар-специалистов — не что иное, как приток в эти сферы и, как следствие, привлечение к авторству представителей разных областей, не знающих особенностей произведений этих видов. Очевидно, что при редактировании сочинений других видов нехудожественной литературы проблема профессионализма авторов не стоит так остро. Редактору приходится решать в основном иные задачи: хорошо знающий предмет автор не может воплотить материал в определенную видовую и жанровую форму — научно-популярной или учебной литературы, монографии или пособия. Возникает обычная в издательской практике ситуация преодоления трудностей изложения.

В рекламе и связях с общественностью все обстоит иначе, поэтому редактору важно знать, какие типичные трудности возникают при работе над текстом в зависимости от того, кто является его создателем. В рамках данной статьи мы считаем возможным ограничиться классификацией авторов в сфере рекламы и привести примеры наиболее типичных ошибок в рекламных текстах. Большинство из сделанных наблюдений можно спроецировать и на тексты, функционирующие в сфере связей с общественностью.

Первое, что должно быть под редакторским контролем в сфере маркетинга, — это стремление текстовиков «руководствоваться собственными представлениями о процессе творчества, рассматривать деньги заказчика в качестве холста, на котором позволительно рисовать сообразно вольной игре воображения» [7].

Рассмотрим основные типы авторов, с которыми сотрудничает редактор рекламного произведения.

Автор-рекламодатель — наиболее распространенный и, наверное, самый проблемный вариант. Становясь собственником приобретенного за деньги рекламного времени, площади или пространства, рекламодатель нередко превращается в диктатора. Создавая текст, «юридическое или физическое лицо, являющееся источником рекламной информации» [8], навязывает другим участникам рекламного процесса свое представление о том, какой должна быть реклама, руководствуется исключительно собственными вкусовыми предпочтениями. Тем труднее устранить в тексте какие-либо недочеты. Особенно много некачественных произведений создается в недрах корпоративных отделов рекламы, тех, что создают рекламные материалы самостоятельно. В этих случаях рекламодатель — руководитель фирмы — поручает писать тексты своим сотрудникам и, естественно, выступает при этом главным судьей. Очевидно, что такая же ситуация возникает в департаментах по связям с общественностью, в которых пиар-специалисты вынуждены ориентироваться на представления своего руководства.

На что надо обращать внимание в текстах, созданных заказчиком или в соответствии с его указаниями? Прежде всего на то, что такие творения как правило избыточно посвящены ... самому инициатору сообщения. Основное содержание составляет перечень достоинств учреждения, компании: сколько лет на рынке, какие регалии, чем лучше партнеров (что в принципе считается неэтичным в рекламе и недопустимым в пиаре), какие статусные заказчики и др. Затем надо учитывать то, что рекламодатель не пытается найти с потребителем общий язык: использует профессиональную лексику, специальную терминологию, но, что хуже и всегда выдает авторство, разговаривает или свысока, или панибратски. И все это из убежденности, что только так надо общаться с потребителем. Еще одна проблема — такие тексты изобилуют неуклюжими попытками экспериментировать с экспрессивностью, причем в самых странных

формах. Наконец, созданные рекламодателем творения узнаваемы по присутствию того, что один из основоположников рекламы Р. Ривс называл «оживляж».

Отметим еще одну закономерность. Рекламируя себя, свои товары и услуги, рекламодатели словно забывают о том, что за рекламный текст заплачены их собственные деньги и каждое слово имеет свою цену (не фигурально, а буквально). В результате они выбирают самые объемные жанры, охотно философствуют на пустом месте («*что вы чувствуете, произнося слово “бизнес”*»), размышляют о жизни, о погоде и др. Еще одна характерная примета рекламодательских материалов — излишняя патетика, ложный пафос, ничего не значащие заявления в заключительных фразах:

«Мы уважаем своего клиента!», «Наш заказчик для нас — самое важное!»,
«Фирма X готова стать Вашим помощником», «Мы всегда ждем Вас!»,
«Мы уверены, что и уровень нашего сервиса, и качество предлагаемых услуг смогут удовлетворить Ваши самые высокие запросы. Мы готовы и будем рады стать Вашим партнёром», «Мы улучшаемся для вас!».

О необходимости предложить потребителю конкретное решение его проблем авторы-рекламодатели обычно забывают.

Вот фрагменты из рекламодательского произведения, в котором можно обнаружить все перечисленные и другие недочеты:

«В необходимости снабдить свое жилище качественными окнами уже никого убеждать не надо. Если раньше основным был фактор престижа, то сейчас установка дополнительного защитного барьера, которым, в сущности, и являются оконные конструкции, — это вопрос защиты здоровья, неблагоприятная экологическая обстановка, утечка тепла из помещений и, как следствие, излишняя трата электроэнергии ...»

Сразу обнаруживается в этом тексте нарушение закона тождества, столь типичное для большинства подобных материалов: *убеждать не надо*, но рекламодатель убеждает, забыв о сделанном заявлении.

«За девять лет безупречной работы на российском рынке ЗАО “Евроокно” снискало уважение как профессионалов, так и частных заказчиков, стремящихся к стилю, качеству и красоте».

Новый пассаж уже содержит восторженную самооценку, а логические недочеты (ошибка логической неоднородности — «*профессионалы*» и «*частные заказчики*» в одном ряду) и ненужная экспрессивность при характеристике этих заказчиков (они стремятся к красоте!) создает абсолютно неадекватный интересам целевой аудитории текст.

Есть в этой рекламе и другие приметы присутствия автора-заказчика: «ЗАО “Евроокно” ... в отличие от других производителей не экономит на материалах» (типичное нарушение этики), есть и «*добрая половина жителей элитных коттеджей*» в качестве клиентов, и приглашение полюбоваться на окна Marriott Грандъ-Отеля или Полянка-Plaza. Кстати, в тексте отсутствует заголовок — самая важная часть рекламного обращения, без которого оно теряет свою эффективность. Не случайно один из первых советов опытных рекламистов начинающим — *работать над заголовком больше, чем над всем остальным текстом*.

А вот пример самовлюбленной рекламы, созданной рекламным агентством «Лесто». Обилие нелепых текстов, в которых предлагаются рекламные услуги, подтверждает мнение

о непрофессионализме большинства представителей рекламного бизнеса. Оказывается, не только редактору, но и рекламисту неплохо бы знать прописные истины рекламного дела.

«Новое наполнение классических форм. Нам уже 10 лет... Мы — одни из первых владельцев светового анимационного экрана на Тверской, мы — первые выпустили тематические полосы в самых престижных газетах. Мы могли бы называться пионерами, а Ле100 — это не про100».

Любование собственными достижениями в этом рекламном обращении достигает такой степени, что создателям не приходит в голову: найденные ими якобы омоформы (*Ле100 — это не про100*) не восхитят, а, скорее всего, приведут в раздражение потенциального пользователя их услуг.

Автор-писатель — вариант не столь уж распространенный. В писательских текстах не бывает названных выше ошибок, но возможны другие, вполне прогнозируемые. Например, игра в изящную словесность, композиционные изыски, художественность, индивидуальность стилевой манеры без учета уровня потребителя, использование сложных синтаксических конструкций, образных выражений. Основные функции рекламного обращения — коммуникация с потребителем, передача рекламного послания — будут в таком тексте вторичны.

Автор-журналист работает в рекламе (и в сфере связей с общественностью) часто. Именно выпускников факультетов журналистики охотно принимают в агентства и пиар-службы на должность текстовика. Журналистские произведения узнаются по легкости манипулирования поверхностными доводами, внешней гладкости, обилию девизов. Еще одна характерная черта созданных журналистами текстов — погоня за оригинальностью формы, то, что классики рекламы называют проблемой номер один рекламного творчества: «К несчастью, оригинальность способствовала в большинстве случаев скорее гибели рекламодателей. Оригинальность не может быть дикой и необузданной, она должна быть ограничена рамками той функциональной роли, которую выполняет реклама»⁴. Надо сказать, что именно авторы-журналисты вызывают наибольшее раздражение у тех, кого можно назвать настоящими копирайтерами. «Этим представителям не помню какой по счету «власти» свойственно гоняться за сенсацией, вскрывать, полемизировать, клеймить. К сожалению, многие не понимают коренного отличия журналистики от рекламы» [9]. Наверное, не понимали этого и сотрудники редакции, создавшие это рекламное творение (орфография оригинала):

«Кодекс чести COMPUTERWORLD

1. Интересы читателя для ComputerWorld Россия — превыше всего.
2. Журналист нашей газеты независим. Он не имеет права пользоваться страницами нашей газеты, чтобы рекламировать кого бы то ни было.
3. Наша главная цель — точная и объективная подача новостей.
4. Мы не публикуем заказных статей или рекламных материалов, поданных как мнение редакции.
5. Любой плагиат влечет за собой исключение журналиста из рядов ComputerWorld Россия.
6. ComputerWorld Россия всегда исправляет свои ошибки, если они допущены.
7. Наши журналисты не участвуют в компьютерном бизнесе как владельцы фирм или реселлеры продуктов других компаний.
8. Журналисты не работают в других компаниях компьютерной индустрии.

⁴ Ривс Р. — Указ. соч. [7].

9. Не быть запятнанным — лучшее средство против клеветы.
10. Все материалы, выражающие мнение редакции, в газете выделены особо».

Выбрав для рекламы своего издания оригинальную форму, создатели не подумали о том, соответствует ли понятиям «кодекс» и «честь» содержание материала. Десять правил представляют собой смесь из редакционных инструкций и пафосных, лишенных смысла деклараций: *«интересы читателя — превыше всего»*, *«исключение из рядов (!) Computer World»*. Авторы из всех сил старались довести число правил до десяти, по-видимому, подразумевая десять христианских заповедей. Но это только усложнило их задачу — во-первых, никаких нравственных обязанностей сотрудников газеты они не называют, во-вторых, правила противоречат друг другу (*«не публикуем материалов, поданных как мнение»* и *«материалы, выражающие мнение, выделены особо»*). Вообще, логические ошибки этого небольшого текста требуют самостоятельного разбора. Итог? Читатель «Кодекса чести» вряд ли понял, чем хороша эта специализированная газета и почему ее надо покупать.

Есть еще одна категория авторов, которые пишут рекламные тексты, — **специалисты в тех или иных областях деятельности**. Чаще всего они рекламируют собственный товар или услугу, но иногда привлекаются для создания коммерческого предложения, особенно в области информационных технологий, в строительстве, медицине и др. «Проблемные зоны» таких текстов — наукообразие, многозначительность, сложная лексика, все минусы псевдоделового стиля: отлагательные существительные, речевые штампы, расщепленное сказуемое, избыточная терминологичность. Отвлечь специалиста от технологической сути предлагаемой услуги практически невозможно, поэтому чаще всего такая реклама похожа на техническое задание или объяснительную записку к авторскому свидетельству. Авторы-специалисты при этом убеждены, что потребителю необходимо «грамотно объяснить суть предложения, а не разводить филологию». В результате на страницах массовых (!) периодических изданий появляется такая реклама:

«STANDESIGN / ГРУППА КОМПАНИЙ

STANDESIGN GROUP предлагает и реализует не только концептуальные дизайнерские проекты, но и предлагает общедоступные разработки мебели для дома и общественных помещений. С привлечением сессионных дизайнеров и сопутствующей продукции мы предлагаем комплексные интерьерные решения.

У встроенной мебели есть ряд неоспоримых преимуществ перед обычной мебелью, дающих Вам и Вашей фантазии практически безграничную власть над пространством. При помощи этой технологии Вы можете организовать любой функциональный объем помещения согласно Вашим представлениям об удобстве и эргономике. Отныне Ваш выбор не скован никакими ограничениями в размерах мебели. Вы свободны в выборе ее пространственного расположения и дизайна. Вы заполняете выбранный Вами полезный объем по Вашему усмотрению, исходя из широкой гаммы конструктивных элементов внутреннего наполнения. Наконец, Вы свободны в выборе той расцветки Вашей будущей мебели, которая наиболее гармонично-психологический комфорт восприятия. Встроенная мебель STANDESIGN не имеет границ: технологические возможности позволяют создавать конструкции любых размеров и конфигураций, и все это невзирая на воз-

можные архитектурные недостатки сопрягаемых поверхностей пола, стен и потолка».

Рекламу этой группы компаний то ли создателей дизайна, то ли производителей мебели можно использовать в качестве образца при разборе основных стилистико-речевых ошибок, свойственных научному стилю. Использование профессиональной лексики, непонятной читателю (*сессионные дизайнеры, эргономика, стилевая доминанта, сопряжение поверхностей пола и т.д.*), стандартные фразы (*общедоступные разработки, сопутствующая продукция, безграничная власть и т.д.*). В тексте многократно используется местоимение «Вы» — неизменно с большой буквы. Эта вежливая форма обращения является единственным свидетельством того, что авторы помнят о потребителе. Хотелось бы довести до сведения пишущих рекламные тексты специалистов известную всем редакторам научной литературы истину: «Трудности изложения никогда не бывают присущи самому научному стилю и лишь по недоразумению часто приписываются ему людьми, не умеющими ясно и просто излагать свои мысли» [10. С. 273].

А вот еще одна «научная» реклама, фрагменты из которой имеет смысл привести в качестве совсем уж отрицательного примера.

«Сенсация XXI века. Российскими учеными создана уникальная матрица здоровья.

На ее основе разработана авторская программа универсальной коррекции человека, при которой происходит снижение веса до 1 килограмма в день.

Не только избыточный вес, но и трудноизлечимые болезни можно победить с помощью матрицы здоровья. <...> Матрица здоровья представляет собой сложную микросхему с изображением плоского среза объемной голографической структуры.<...> При синхронизации электромагнитных излучений, являющихся базисом для организма, как следствие провоцируется последующая нормализация всех электрохимических, биохимических и химических процессов».

Перед нами не статья в научном журнале, а рекламный текст. Можно предположить, что, продвигая сложное нововведение в области медицины, авторы текста хотели объяснить механизм его воздействия. Однако целевая аудитория не получила нужной доступной информации, а, скорее всего, смущена набором сложных терминов и понятий. Слова «сенсация», «матрица», «уникальный», «универсальный» в заглавии и подзаголовке этой полосной (!) рекламы, обещание осуществить коррекцию **человека до** одного килограмма (неверное употребление предлога) всего за один день, свидетельствуют о том, что создатели текста не имеют ни малейшего представления об элементарных требованиях к рекламной коммуникации вообще и в области медицины в частности.

В статье 24 Закона «О рекламе» (ч. 1, п. 2—5) [8] указывается, что реклама медицинских услуг не должна «содержать ссылки на конкретные случаи излечения от заболеваний, улучшения состояния здоровья человека в результате применения объекта рекламирования и создавать представление о преимуществах объекта рекламирования путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных для государственной регистрации объекта рекламирования».

«Матрица здоровья» не имеет ни авторов, ни указания на то, российские ученые какого медицинского учреждения сделали сенсационное открытие, и очень невнятную, трудно обнаруживаемую ссылку на лицензию. Многоканальный телефон тоже должен смутить потребителя — речь идет не об утюгах, а о тиражировании методики оздоровления организма.

Сказанное выше не означает, что авторам перечисленных категорий противопоказано заниматься рекламой или пиаром. Представитель любой профессии может быть успешным в сфере маркетинга в том случае, если он понимает особенности этой деятельности и умеет решать нужные коммуникативные задачи.

В остальном же, по процедуре общения с автором, сфера маркетинга не так уж уникальна для редактора. Возьмем, например, ситуацию, когда рекламодатель поручает создать объемный рекламный текст (проспект, каталог) рекламисту, а последний подключает к этой работе редактора. В этом случае автором для редактора является именно текстовик. С ним он снимает вопросы, обсуждает концепцию материала, словом, работает так, как с любым автором оригинального литературного произведения. Надо сказать, что этот вариант является для качества рекламного обращения идеальным, особенно если рекламист — грамотный копирайтер, ибо только копирайтер и должен писать рекламный текст [9].

В работе над рекламным обращением у копирайтера и редактора есть серьезное подспорье: для копирайтера — руководство к действию, для редактора — «инструкция», позволяющая оценить содержание рекламного материала. Речь идет о техническом задании, которое рекламодатель должен выдавать исполнителю, о документе, который в рекламной практике именуется словом «бриф» и является одним из наиболее оптимальных методов обеспечения эффективности рекламы с первых этапов ее создания [11].

По своим целям (именно по целям) бриф идентичен плану-проспекту — документу, который издательство вправе потребовать от начинающего или неизвестного автора и который показывает, насколько автор владеет темой и в состоянии ее раскрыть. Составление брифа полезно и в том случае, когда рекламодатели собираются самостоятельно писать рекламные обращения, предназначенные для размещения в прессе или в виде печатной рекламы. Если бы так происходило повсеместно, «рекламодательские» творения имели бы гораздо меньше ошибок.

Иными словами, бриф дисциплинирует и самого заказчика, который вынужден четко определить цели и задачи предстоящих рекламных действий, указать, какая целевая группа должна получить рекламное послание, какой стратегии он намеревается придерживаться, назвать конкурентные особенности своего товара или услуги, наконец, ту стилистическую манеру рекламирования, которую он считает предпочтительной и почему.

В сфере пиара бриф используется гораздо реже: при разработке масштабных пиар-кампаний, в тех случаях, когда базисный субъект приступает к сотрудничеству с новым агентством.

Как уже отмечалось, приведенные выше рекомендации по работе с авторами в полной мере могут быть использованы и в пиар-деятельности. Назовем еще несколько важных для редактора именно в сфере связей с общественностью ориентиров в системе создания произведений. Прежде всего нужно помнить о том, что существует «зависимость прессы или любого другого информационного канала, прежде всего, от представителей власти, чьи пресс-релизы практически полностью и без комментария публикуются и озвучиваются в эфире» [12. С. 83]. Очевидно, что в этом случае ни текстовик, ни редактор не смогут повлиять на содержание информации. Это обстоятельство нужно принять как данность.

Если автором пиар-текста выступает журналист, редактор должен вместе с пиар-менеджером помнить об интересах базисного субъекта и, по возможности, регулировать публичность конкретного текста. Как и пиар-специалист, редактор должен быть в курсе стратегических и тактических планов инициатора пиара, знать наиболее актуальные информационные поводы для материалов, постоянно поддерживать связь с журналистами ключевых изданий, быть в курсе тем будущих номеров, чтобы иметь возможность оперативно предоставить необходимую информацию или комментарий от лица своего клиента.

Особо стоит выделить работу редактора во внутрикорпоративных изданиях. Здесь его функции мало чем отличаются от функций редактора любого из средств массовой информации, конкретизируясь лишь тематикой определенного журнала, газеты, портала и общими целями внутрикорпоративных СМИ как особого типа изданий (укрепление авторитета компании в глазах сотрудников, создание коммуникации между ними и руководством, повышение корпоративного духа и преданности своему делу).

Заключение

Профессиональная миссия редактора побуждает его искать формы взаимодействия с авторами, несмотря на трудности совместной работы, определяемые спецификой маркетинговых коммуникаций, в частности доминирующей ролью заказчика. Это обстоятельство, а также методика и технология подготовки текстовых документов в сферах рекламы и связей с общественностью, казалось бы, делают невозможным следование профессиональным установкам и выполнение редакторских обязанностей. Однако на практике, например, во многих копирайтинговых агентствах, редактор сегодня не только выполняет, но и расширяет свои функции.

В числе первостепенных задач редактора остается контроль за качеством информации с точки зрения культуры письменной речи, соответствия требованиям точности, логичности, выразительности, языковой грамотности. Учитывая по-прежнему высокое социокультурное значение рекламы и связей с общественностью, эти задачи имеют абсолютно четко выраженную социальную направленность.

Важность предназначения редактора должна осознаваться не только представителями профессии, но и всех сфер, связанных с функционированием информации, а в маркетинговых коммуникациях — едва ли не в первую очередь.

Литература

1. Чуковская Л.К. Процесс прохождения / Редактор и книга: Сб. статей. Вып. 4. — М.: Искусство, 1963. — С. 55—98.
2. Иншакова Н.Г. Помощник рекламиста, или Редактор рекламных текстов. — М.: МЦФЭР, 2005. — 288 с.
3. Назайкин А.Н. Эффективный рекламный текст в СМИ. — М.: Изд во МГУ, 2011. — 480 с.
4. Рудь С.М. Легко ли быть редактором... по образованию // Редактор и книга. — М.: Искусство, 1982. — Вып. 9. — С. 19—51.
5. Усков В. Авторское право в рекламе. Ч. 2, 3 // Рекламные идеи. Yes! — 1997. — № 1—2.
6. Из интервью Генерального директора РСР Д.С. Бадалова // Цит. по: Кара-Мурза Е.С. «Дивный новый мир» российской рекламы: социокультурные, стилистические и культурно-речевые аспекты. — [URL]: www.gramota.ru. Дата обращения 24.07.2013.
7. Ривс Р. Реальность в рекламе. — [URL]: <http://enbv.narod.ru/text/econom>. Дата обращения 24.07.2013.
8. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38 ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.02.2006, действующая редакция от 07.06.2013. — [URL]: <http://www>.

References

1. Chukovskaya L.K. Process prochojdeniya / Redactor i kniga: Sb. statei. Vip. 4. — M.: Iskuststvo, 1963. — S. 55—98.
2. Inshakova N.G. Pomoshnik reklamista, ili Redactor reklamnyh tekstov. — M.: MCFER, 2005. — 288 s.
3. Nazajkin A.N. Effektivnyj reklamnyj tekst v SMI. — M.: Izd vo MGU, 2011. — 480 s.
4. Rud' S.M. Legko li byt' redaktorom ... po obrazovaniyu / Redactor i kniga. — M.: Iskuststvo, 1982. — Vyp. 9. — S. 19—51.
5. Uskov V. Avtorskoe pravo v reklame. Ch. 2, 3 // Reklamnye idei. Yes! — 1997. — № 1—2.
6. Iz interv'yu General'nogo direktora RSR D.S. Badalova // Tsit. po: Kara-Murza E.S. "Divnyj novyj mir"rossijskoj reklamy: sotsiokul'turnye, stil'isticheskie i kul'turno-rechevye aspekty. — [URL]: www.gramota.ru. Data obrascheniya 24.07.2013.
7. Rivs R. Real'nost' v reklame. — [URL]: <http://enbv.narod.ru/text/econom>. Data obrascheniya 24.07.2013.
8. Federal'nyj zakon «O reklame» ot 13.03.2006 № 38 FZ (prinyat GD FS RF 22.02.2006, dejstvuyushchaya redaktsiya ot 07.06.2013. — [URL]: <http://www>.

consultant.ru/popular/advert. Дата обращения 24.07.2013.

9. Репьев А. Язык рекламы. — [URL]: www.sostav.ru. Дата обращения 19.07.2013.

10. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. — М.: Рус. язык, 1967. — 325 с.

11. Надеин А. Как связать креатив со стратегией бренда // Рекламные идеи. — 2005. — № 3. — С. 12—22.

12. Кривоновосов А.Д. PR текст в системе публичных коммуникаций — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2002. — 288 с.

<http://www.consultant.ru/popular/advert>. Дата обращения 24.07.2013.

9. Rep'ev A. Yazyk reklamy. — [URL]: www.sostav.ru. Data obrascheniya 19.07.2013.

10. Budagov R.A. Literaturnye yazyki i yazykovye stili. — M.: Rus. yazyk, 1967. — 325 s.

11. Nadein A. Kak svyazat' kreativ so strategiej Brenda // Reklamnye idei. — 2005. — № 3. — S. 12—22.

12. Krivonosov A.D. PR-tekst v sisteme publichnykh kommunikatsij. — SPb.: Peterburgskoe Vostokovedenie, 2002. — 288 s.



Иншакова Наталья Григорьевна,
кандидат филологических наук, доцент,
кафедра редакционно-издательского дела
факультета журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова

Inshakova Nataliya G.,
Candidate of Philology, Associate Professor
Department of the Editorial and Publishing
Faculty of Journalism
Lomonosov Moscow State University

E-mail: inshakovamgu@yandex.ru

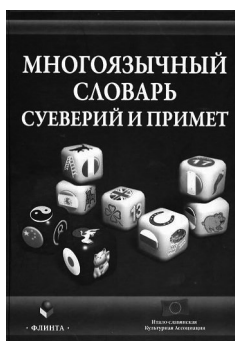




В.Н. Базылев

В ожидании нарратива: суеверия и приметы в лингвокультурологии

Рецензия на многоязычный словарь



Многоязычный словарь
суеверий и примет /
Под ред. Д. Пучко. —
М.: Флинта, 2013. —
384 с.

ISBN 978-5-9765-1615-1

Рецензируемый словарь продолжает серию учебных словарей, публикуемых издательством «Флинта». К этой же серии относится «Многоязычный словарь современной фразеологии» (под ред. Д. Пучко), появившийся в 2012 г. и удостоенный Диплома I степени на престижном VI Общероссийском конкурсе «Университетская книга».

Отметим, что издательство «Флинта» уделяет большое внимание выпуску различных типов словарей, ориентированных на учебные цели для широкого круга пользователей, изучающих иностранные языки. Они адресованы разным возрастным и социальным группам: школьникам, студентам, изучающим языки — английский и немецкий, французский и испанский, китайский и японский, а также русский язык как иностранный.

Таким образом, настоящий полиязычный справочник может служить настольной книгой в любой стране, так как обучает читателей стратегии работы со словарем совершенно новыми средствами. Это и нетрадиционное техническое оформление макро- и микроструктуры словаря, чему в последнее время уделяется все большее внимание в отечественной и мировой лексикографии, и максимально полный корпус словаря, отсутствие многочисленных приложений, обычно присутствующих во всех типах справочников лингвистического и энциклопедического типа и отягощающих работу адресата.

Пользователя, безусловно, привлечет к новому типу справочного пособия то, что в нем сочетаются черты не только толковых и тезаурусных словарей, но и словарей пословиц и цитат. Авторы словаря правильно пытаются таким образом привлечь внимание читателя к качественно новому словарю XXI века: в его макроструктуре объединяются сразу две лексикографические формы — толковый и понятийный словарь (тезаурус). Такой, на первый взгляд, необычный прием позволяет составителям всесторонне описать все входные единицы словника и снабдить пользователя одним справочником в одном томе.

Мегаструктура словаря традиционна: вступительная часть (К читателю, Предисловие, Как пользоваться словарем, Условные обозначения); словник (Словник русских суеверий и примет) и сам словарь.

Разделы словаря: *Человек и его жизнь, Предметы, Флора и фауна, Праздники, Магия.*

Все разделы составлены на восьми языках, что делает данное справочное издание удобными как для носителей русского языка, изучающих английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский и китайский языки, так и для носителей всех перечисленных выше языков, изучающих русский язык как иностранный. В предисловии составители словаря объясняют, как пользоваться словарем, приводят список аббревиатур и условных обозначений.

Удачно выбрана формула объяснения работы со словарной статьей. В целом замена лексикографического терминологического аппарата более простыми словами отнюдь не снижает информативной ценности справочника. Она скорее способствует расширению круга читателей, для которых — особенно иностранных учащихся — научные дефиниции, контекстуальные иллюстрации и др. часто не всегда понятны и тем самым «отталкивают» потенциального пользователя от того или иного словаря. Предложенная авторами словаря методика по разумному упрощению принципов построения словника и словарной статьи способствует повышению эффективности работы со словарем.

Следует отметить удачное расположение языкового материала в словнике. Заглавная фраза и наименования языков всегда выделены жирным шрифтом, чтобы сконцентрировать внимание читателя на конкретном элементе, а толкование дается курсивом. Такое оформление помогает пользователям легче разграничивать информацию в словарной статье.

Структура каждого раздела словаря также направлена на оптимизацию информационного поиска:

*раздел **Человек и его жизнь** подразделен на Человеческое тело, Свадьба, Дети, Рождение ребенка, Здоровье, Разногласия, Раздоры, Образование, Путешествие;*

*раздел **Предметы** — на Предметы домашнего обихода, Одежда и аксессуары, Еда и напитки, Деньги и богатство;*

*раздел **Праздники** — на собственно Праздники, а также Дни недели, Числа, Вселенная;*

*раздел **Магия** — на Сглаз, Злые духи, Драгоценные камни.*

Каждый из этих подразделов содержит фразы, объединенные общей подтемой.

Например:

Нельзя мыть машину под окнами собственного дома — ее могут угнать.

(If you wash your car outside your house, someone may steal it.)

En¹: Washing a car will bring rain.

(Помоешь машину — обязательно дождь пойдет.)

I: Molti italiani non salgono in auto senza l'amuleto propiziatorio mentre altri si accompagnano di ninnoli e pendagli per sentirsi protetti durante il loro tragitti.

(Многие итальянцы не садятся в машину без специального амулета, а некоторые держат в машине различные брелоки и подвески, чтобы обезопасить себя в дороге.)

¹ Здесь и далее обозначение языков: En — английский, I — итальянский, F — французский, Es — испанский, D — немецкий, J — японский, Ch — китайский.

F: Sortir un véhicule neuf et l'érafler ou le cogner lors d'un premier créneau n'est jamais de bon augure.

(Поцарапать или ударить новую машину в первый же день — плохой знак.)

Es: Viajar llevando una medalla de San Cristóbal (Santo asociado con los viajes), trae fortuna y preserva de tener accidentes durante el viaje.

(Отправляясь в путь, возьмите с собой медальон с изображением Св. Христофора, покровителя путешественников, это принесет удачу и защитит в дороге.)

D: Damit man mit dem Auto keine Probleme hat und damit es nicht gestohlen wird, stellt man eine Medaillon mit dem Heiligen Christopherus drin.

(Иконка Святого Христофора, защитника путешественников, убережет вашу машину от угона и дорожных происшествий.)

J: 車の写真を撮ると、その車は事故する。

(Чтобы избежать аварий, не фотографируйте свою машину.)

Ch: 在风水的讲究中，楼下不能有车库，否则家中女性难以受孕。

(Согласно учению Фэн-шуй, гараж под домом может стать причиной бесплодия семейной пары, живущей в этом доме.)

Словник включает 312 ключевых фраз, которые заимствованы из фольклора и художественной литературы, из речи письменной и устной.

Дефиниция в основном представлена в виде целого предложения. Например:

F: Présenter le pain à l'envers sur une table porte malheur et attire le Diable. Ceci vient du fait qu'au Moyen-Âge le boulanger gardait le pain du bourreau à l'envers.

(Перевернутый хлеб притягивает дьявола. Поверье основывается на том, что в Средние века булочник переворачивал буханку, предназначенную палачу, чтобы отличить ее от остальных.)

Это — основная и наиболее привлекательная черта словаря, так как в отличие от искусственно созданных дефиниций, данные в словаре представляют собой аутентичный материал, что особенно ценно для пользователя, изучающего неродной язык. А это, в свою очередь, делает словарь более удобным для пользователей, изучающих сразу несколько языков.

Особое внимание обращает на себя толкование культурно-маркированной лексики: помимо исторических, географических, социальных реалий, они дают культурологическую информацию о бытовых и культурных реалиях.

Например:

D: Um sich vor Dieben zu schützen, schreibt man "Nichtsosemich" ans Haus.

(Чтобы защититься от воров, на доме надо написать магическое слово «Nichtsosemich».)

J: 泥棒よけのまじないとして、十二月十二日と書いた紙を扉や窓に張る。

この日付は石川五右衛門の命日として知られる。

(Чтобы воров обходили ваш дом стороной, прикрепите на окна и двери листочки с надписью: «Двенадцатое декабря» (в этот день был казнен Исикава Гомон, знаменитый японский вор и разбойник XVI века).)

Об учебной направленности словаря свидетельствует и тот факт, что приводимые в нем фразы могут служить самостоятельным материалом на занятиях по неродному (иностранному) языку при изучении перечисленных тем. Они способствуют более эффективно запоминанию большего количества слов, так как систематизированы по тематическому

принципу, т.е. могут быть использованы на занятиях по иностранному языку, построенных на методическом ассоциативном полевом подходе.

Культурологический аспект словаря весьма важен, так как в нем показываются сходства и различия, объясняются особенности культур и обычаев стран. Словарь полезен как для пополнения пассивного, так и активного запаса лексики изучаемого языка, так как в статьях, где это возможно, приводится приблизительный культурный эквивалент.

Например:

Если хотите, чтобы у рыбака был богатый улов, пожелайте ему: «Ни хвоста, ни чешуи!»

(If you want a fisherman to have a good catch, wish him: "Neither tail nor scale".)

I: Per auspicare al pescatore una bella pescata augurategli: "In bocca al pescecane".

(«К акуле в пасть!» — так итальянцы желают удачи рыбаку.)

D: Dem Angler wünscht man „Petri Heil!“, damit er so viele Fische wie der Apostel Petrus fängt.

(Рыбаку желают «удачи Петра», чтобы он поймал столько же рыбы, сколько апостол Петр.)

Вместо подробных объяснений авторы впервые ввели специальное оформление статьи, демонстрирующее корректное использование заглавной тематической фразы в письменной или устной речи.

Например:

Чтобы у вас всегда были деньги — носите в кошельке неразменный рубль и никогда не тратьте его.

(To ensure wealth, carry a "good luck" coin in your wallet.)

Такой способ представления прагматической информации является положительной чертой данного издания, поскольку акцентирует внимание пользователя на предотвращении типовых ошибок в трудных случаях словоупотребления. Лексикографы, прибегая к такой стратегии, стараются привлечь более широкий круг читателей и сделать словарь настольной книгой всех изучающих неродной язык, а также начинающих переводчиков.

Следует, с моей точки зрения, отметить — как положительное — стремление составителей данного словаря приблизить его к методическому руководству по освоению идиом для иностранцев. Прежде всего, это достигается путем включения в конце справочника раздела (*Словника русских суеверий и примет*), который содержит 24 алфавитно структурированных блока, объединяющих идиомы.

Данный словарь является пока единственным и уникальным лексикографическим опытом нового поколения. Тематический идеографический словарь-тезаурус — это один из эффективных способов фиксации, представления и изучения такого фрагмента культуры, как суеверие и примета, так как он позволяет обращаться одновременно и к «языковой оболочке» и к «семантическому ядру» феномена, к его истории и возможным трансформациям. Словарь не только открывает пользователю доступ к новому материалу, но и обеспечивает новый уровень пользования им. Своеобразный «ключ» ко всему материалу словаря задается русской лингвокультурой: она позволяет воспользоваться им для «входа» в семь иных лингвокультурных областей — английскую, немецкую, французскую, итальянскую, испанскую, японскую и китайскую. Можно выбрать иной ключ-лингвокультуру: это зависит от пользователя. Реализованный в словаре тематический подход опирается на реальные свойства регистрируемых языковых объектов: у каждого суеверия, у каждой приметы есть своя тема, и даже многозначность возможной интерпретации не означает отсутствия тематических границ. При всей широте смысла скрывающиеся за ними сужде-

ния применяются не к любым событиям и предметам, а к определенным — к ряду явлений, имеющих между собой связь.

Например:

русск. Если на Масленицу сжечь чучело зимы, — весна наступит быстрее и принесет удачу; **исп.** Al cambio de estación es bueno tirar lo viejo como buen auspicio para la nueva estación.

Но именно многосмысленность и многоосмысленность в пределах темы делает их трудными для однозначного толкования. По этой причине тематико-классификационная система, предложенная в словаре, — Человек и его жизнь, Тело, Свадьба, Дети, Здоровье, Образование, Путешествие, Одежда, Еда, Деньги, Растения и животные, Праздники, Вселенная, Магия, Духи, Камни и т.д. — очень удачна: она позволяет пользователю пройти путь от слова к той или иной стороне культуры.

Несмотря на тематическое разнообразие приведенных в отдельных разделах словаря суеверий и примет, их сближает между собой образно-поэтическая логика. На ее основе возникают разные, но в чем-то и близкие предметно-ассоциативные связи, сближающие фрагменты одного тематического ряда с другими, одного языка и культуры со всеми другими.

Обращаясь к тому или другому фрагменту лингвокультуры, представленному в словаре, пользователь получает возможность сопоставления и сравнения суеверий и примет в разных лингвокультурах.

Они могут совпадать: **русск.** Чтобы у вас всегда были деньги — носите в кошельке неразменный рубль и никогда его не тратьте; **англ.** Keep a penny, wrapped in paper, in your pocket and money will continue to flow in your direction; **итал.** Porta bene tenere 2 centesimi di euro nel portafoglio o una moneta nuova di zecca perché attira le altre monete; **фр.** Mettre un bout de ficelle dans son porte-monnaie y attire l'argent; **исп.** Nunca hay que sacar todo el dinero del monedero o bolsa. Hay que dejar un poco, aunque sea una moneda, ya que trae buena suerte; **нем.** Ein Glückspennig im Geldbeutel soll verhindern, dass dem Besitzer jemals das Geld ausgeht; **яп.** 財布に蛇の皮を入れておくとお金が溜まる. **кит.** 财神贴得勿高勿低, 主人家里钱铺地.

Они могут не совпадать: у русских и британцев считается плохой приметой подбирать деньги на улице — это к бедности (**русск.** Чтобы быть богатым, не подбирай мелочь с земли; **англ.** If you want to become rich, don't pick up coins from the ground. А вот дальневосточная культура относится к этому совсем иначе: **яп.** お金を地面に見つけた時は、金運のよい時. (Найти монету — к прибыли.)

Но именно такая аранжировка материала в словаре как нельзя лучше обеспечивает доступ к мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям «чужой» культуры. Это, в свою очередь, дает возможность правильно понять иные лингвокультуры, существующие в них способы самовыражения и проявления человеческой индивидуальности, понять конкретного человека из иной лингвокультуры и уважительно отнестись к его взглядам, образу жизни, вероисповеданию. Одновременно словарь демонстрирует возможность смыслового компромисса между различными (иногда конкурирующими) культурами, обеспечивая тем самым сохранение их разнообразия и непохожести.

Каким же образом словарь поможет диалогу культур? Очевидно, помощь заключается в том, что, читая словарь, человек сможет интегрировать или ассимилировать непривычные ему представления о мире и себе самом. Словарь может помочь читателю понять взаимодополнение и параллелизм в развитии разных культур — европейской (а внутри нее — английской, немецкой, русской и испанской) и дальневосточной (а внутри нее — китайской и японской). Словарь приглашает читателя к своеобразной беседе, полилогу нескольких цивилизаций о своих мировоззренческих основах, первичных символах, духовных ценностях,

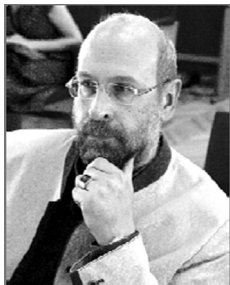
которые воплощены в том, что все эти лингвокультуры называют «суеверием» и «приметой». Все культуры по-разному влияют друг на друга: они могут игнорировать друг друга, защищать исключительно свое культурное превосходство, а могут стремиться минимизировать различия, адаптироваться к иной культуре, принимать существование межкультурных различий. Можно представить себе диалог культур как сочетание двух символов «+» и «—»: первый обозначает сходство, второй — различие. Но: плюс на минус — дает ассимиляцию, плюс на плюс — дает взаимное развитие, а все вместе преодолевают отчужденность и способствуют длительным добрососедским отношениям.

Заключение

Таким образом, рецензируемый словарь — это удобное и очень содержательное справочное пособие. Его потенциальные пользователи смогут найти сведения, которые пригодятся им даже при самостоятельном обучении: как для пополнения словарного запаса, так и для расширения кругозора за счет новых знаний о культуре стран изучаемого языка.

В целом словарь может быть рекомендован широкому кругу пользователей, так как он отражает современную идиоматику, дает четкое и доступное толкование прагматическим высказываниям, не всегда имеющих эквиваленты в другом языке, а также помогает пользователю больше узнать о культуре изучаемого языка.

Удачное полиграфическое оформление делает словарь привлекательным и удобным в использовании.



Базылев Владимир Николаевич,
доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой общего и русского языкознания
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина (Москва)

Bazylev Vladimir N.,
Doctor of Philology, Professor,
Chairman of General Linguistics & Russian Linguistics
PUSHKIN State Russian Language Institute (Moscow)

E-mail: vladimir@4unet.ru

